

Татьяна
Зажицкая

КАРИ

Берлин 2001

Татьяна Зажицкая

КАРИ

Мемогу

(наши 70-е – 80-е)

Берлин 2001



Кари Унксова



Татьяна Зажицкая

Родилась в Ташкенте в 1937 году. Закончила филфак Среднеазиатского университета, работала радиожурналистом в области культуры в Ташкенте, затем – в редакции литературы и искусства Эстонского радио. Печаталась в журналах «Советское фото», «Культура и жизнь», «Teater. Kino. Muusika», «Радуга». В 1987 году основала авторскую общественно-политическую радиопрограмму «Диапазон». Программа обозначена в Эстонской Энциклопедии как «первый свободный от цензуры прорыв информационной блокады русскоязычного населения Эстонии». В 1991 – 1994 г.г. была корреспондентом международного журнала «Lettre International». В Германии с 1993 года. Работала научным сотрудником в Проекте «История еврейских общин в Германии». Живёт в Берлине.

Татьяна Зажицкая

КАРИ

Форматирование

И. Малкиэль

© Татьяна Зажицкая

© Лада Смирнова. Фото Кари Унксовой

Берлин 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

«Исчислен диск и обозначен век...»	7
«Нам остается только имя...»	12
Вертикальный город	14
Она похожа на нормального гениального поэта...	18
Запоздалый дебют.	20
О поэте и судьбе.	21
Попытки литературных контактов.	23
В Таллинне появляется Сергей Довлатов.	27
Кари и Эстонское Радио.	41
«Русский круг» в Таллинне...	44
Еще одна попытка «продать» стихи Кари на Радио.	47
У Кари в Питере на Маркса.	49
Осень 78 - го.	58
У Сережи Довлатова на Рубинштейна.	59
«...Конспиративно» едем в Таллинн.	62
На фоне Таллинна снимается семейство.	64
Постдовлатовский сюжет	69
Толя рассказывает, как все это было.	88
После смерти	93
У Давида Самойлова Пярну.	102
Кари и Петербург.	105
Эпизод конца 80 - х, связанный с одним странным человеком.	107
«Что значит для российского поэта жить и умереть?»	113

..Прощай Поэзия! Не мир тебя подъямлет
Но меч поставил сторожем дороги
Там где вдали кончаются тревоги
Взаимопроникающих границ.
Всесилие твое увы ничтожно
И я последний возлагаю камень
И может быть прекраснейший последний
Дабы уйти под хрип и пенье птиц.
Прозрачней слез и теплым словно сердце
Он будет стыть пока проходят годы
Он будет стыть но привлекать вниманье
Ничтожным замедлением души
И ты прохожий перед тем как птицей
И ты прохожий перед тем как веткой
И ты прохожий перед тем как ветром
По мне минуту эту не спеши.

Кари Унксова, 1972, Ленинград

«Исчислен диск и обозначен век...»

В Европе холодно. Примавера XXI века явилась не в наряде из цветов и трав, а в плаще из снега и по колено в воде.

Я поставила, наконец, точку в записках о Кари.

В 89-м, в Таллинне, я начинала эти записки. Я не специалист по поэтическим текстам, всего лишь пристрастный читатель. Я понимала, что оценка ее творчества – дело искушенного критика. А сама я попытаюсь написать о той Кари, которую знала, любила, с которой общалась во время ее приездов в Эстонию в последнее десятилетие ее жизни. Но, начиная и эту работу, я чувствовала, что нужны соединенные усилия тех, кто знал ее в разное время, в различных обстоятельствах, и отдавал себе отчет в масштабе ее дарования и феномене личности. То, что я пыталась делать, к моему огорчению, оказывалось ниже и мельче замысла, и я оставила эти не дававшиеся мне записки.

А позже, когда обстоятельства бросили мою семью в эмиграцию, переключилась на проблемы, которые, как говорится, мне и не снились прежде.

Пять лет прошло, прежде чем мы сумели, наконец, получить из Таллинна наши книги и архивы. Среди них – обтянутая холстиной, с металлическим замочком, папка Кари с ее стихами тридцати – и двадцатилетней давности... Я перечитала все заново и опять заболела ее поэзией, как тогда, в Таллинне, много лет назад.

Поразительно... Ее уже давно нет на свете, но будто и сегодня ведет она диалог с человеком и миром, который по-прежнему так нуждается в милосердии. Почему-то особенно остро ощутилось это здесь, в центре Европы, – Кари, свободно передвигалась в ее культурном пространстве, но так и не успела в ней побывать...

Я открыла свои старые записи. И вдруг поняла, что надо спешить. Неизвестно, сколько еще отпущено, а не все человеческие долги отданы. Память о Кари – один из них.

...Совершенно не представляю, что получилось из этих прерванных и продолженных спустя десятилетие записок...

Бледные старомодные фотографии. После смерти своих родных мы собираем их бережно в конверт и возим за собой из страны в страну, а теперь уже из века в век. Сохраненные в химической памяти мгновения. Они черно-белые – в те времена цвет был недоступной роскошью. Иногда мы извлекаем эти снимки, и графика расцветает всеми цветами жизни... Так и мой текст. Я читаю его, как бы чужими глазами, и меня охватывает отчаянье. Но я успокаиваюсь, как только вспоминаю, зачем и чего ради я все это написала. Просто не могла не написать. Хотя бы потому, что меня понуждал к этому мой знак – Весы. Это хороший знак, не буду скромничать, но в нем, помимо всяческих достоинств, есть одно свойство – врожденное и дотошное чувство справедливости. Очень часто оно портит жизнь носителю знака, доводит до бешенства близких и разрушает отношения. Это так, и проверено жизнью.

А что касается текста, то я просто разобью его на главки и каждой дам название, чтобы удобнее было читать.

...Сегодня я опять попала в Штеглиц, в этот переход метро. Уже издали слышу джазовые синкопы, значит старик на месте. Он внушает страх. Будь это обычный уличный музыкант, каких десятки или сотни в Берлине. Но этот... Он сидит в инвалидном кресле в подземном переходе у самого выхода на торговую нарядную улицу в фешенебельном районе Западного Берлина.

У ног старика крутится старый магнитофон, распевая во все горло веселенькие американские шлягеры 50-х. Старик неподвижен, и только костлявая рука, продетая в кожаную петлю на подлокотнике, отбивает жестяной ритм и в такт ему дергается и кривляется марионетка, подвешенная к креслу и каким-то образом связанная с этой костлявой рукой в петле.

Старик опрятен, острые колени обтянуты добротными

брюками, из-под баварской шляпы торчит костистый пергаментный нос. Может, старик тоже кукла или... мертвец? – каждый раз, проходя мимо, думаю я. Почему бы и нет? Все возможно...

Сегодня, бросая ему марку, я нагнулась и заглянула под поля шляпы – застывший перекошенный рот, холодный и безучастный, но все-таки живой взгляд. Теперь понятно. Старик – паралитик. Кто-то прикатил его сюда, придумал этот бизнес, эту оснастку и режиссуру. Сын? Сосед? Брат? Фрагмент пестрой мозаики берлинской улицы.

Телевизор включаю, едва переступив порог и бросив портфель. Какое там сегодня тысячелетье на дворе? Смотрю подряд по трем программам три выпуска новостей. Везде одно и то же.

...Над Европой, как в средневековье во времена инквизиции, стоит дым от костров. Но сегодня сжигают трупы коров и овец. В сводках новостей сообщают ежедневные цифры убиенных животных – 10, 20, 30 тысяч... Лица плачущих немецких, французских, английских фермеров. На стерильном Шенгенском пространстве завелись ящер и чума.

С экрана каждый день смотрит на зрителей прелестное лицо девочки Ульрики, – она исчезла несколько недель назад. 500 полицейских перекопали каждый метр пространства от Берлина до Бранденбурга, нашли 1000 свидетельств ее похищения и ее оскверненное тело, но насильника пока не нашли; обсуждается вероятность анализа спермы у подозреваемых. Благотворители повысили сумму награды за поимку до 50 тысяч марок.

Нескончаемый мультикультурный праздник на Александерплатц и Курфюрстендамм в Берлине. Трубы и барабаны в Майнце и Кельне зовут всех на прощание с карнавалом до осени, – традиция неколебима, конкурс костюмов и масок, ох и достанется правительству! И вот плывут среди пляшущей толпы открытые платформы с красотками, оркестрами, а на одной – огромная голая задница, из которой торчат головы государственных мужей. Отчаянное веселье, и пиво льется рекой.

Комментаторы обсуждают вероятность попадания

обломков российской космической станции «Мир» именно на Германию. Уточняются траектории падения, на какую именно землю, город, улицу...

И опять в Европе стреляют, по новой началась этническая война на Балканах. На помощь миротворцам ползут из Германии танки. На экране опять трупы, плачущие женщины, дети, пожитки – беженцы.

В программах новостей обязательная смертная статистика за день: лавина в Альпах накрыла 16 человек, упал автобус с шоссе на теннисный корт – 70 человек, попал в аварию школьный автобус – 30 детей, взрывы в Минводах и Эссентуках – 21 человек... Будничность и деловитость статистики снижают у зрителей стресс, а также не дают задержаться мыслям о ценности единственной, дарованной человеку жизни и его бессмертной душе. Американские подростки, расстреливающие своих сверстников, об этом и вовсе не думают. Третий год не сходит со сцены спектакль Свободного берлинского театра «Ich hab's nicht, Adolf Hitler ist es gewesen» – «Я здесь не при чем, это был Адольф Гитлер».

Совесь и чувство вины, столь протяженные во времени, для многих и досадны, и дискомфортны. Поэтому столь упорными были дебаты в обществе по поводу мемориала в центре Берлина. Один за другим отвергались конкурсные проекты, а также текст надписи «Жертвам нацизма». Представители еврейских организаций требовали добавить: «Евреям – жертвам нацизма». Тогда выступили с протестом представители цыганского народа и гомосексуалисты – они тоже были жертвами, так же, как и душевнобольные. Итак, получалось: «Жертвам нацизма – евреям, цыганам, гомосексуалистам и душевнобольным». Но на этот раз были оскорблены чувства евреев. Цыгане обвинили евреев в расизме. Остановились на надписи «Памяти европейских евреев и других жертв нацизма».

Опять-таки вопрос места. Плато площадью чуть ли не в квадратный километр с двумя тысячами одинаковых бетонных надгробий (таков окончательный проект) – в центре нового Берлина?! Недалеко от Бранденбургских ворот? Это невозможно, – говорили одни. – Нарушит будущий

архитектурный ансамбль, отпугнет туристов... Нет, – говорят другие, – именно в центре, именно в Берлине, вот такой, бетонный безобразный и мрачный, бесчеловечный, как Холокост, чтобы помнить вечно, чтобы каждый, кто пройдет через центр этого города, прошел через этот лабиринт, ужаснулся и вспомнил.

*...как это ужасно
Я сяду на мостовую
На теплый асфальт
Еще теплый от теплого пепла
Пусть одуванчики
Смеются
Рыхля тонкий прах
Праотцов авраамово семя
И правда
Разве это люди?
Каждый бежит
Непристойного грязного зрелища
Эти стада
Голых серых уродов
С огромными и вялыми
Половыми органами
Разве в них есть
Что-нибудь
От высокого духа
Томаса Манна
Они не могут отличить
Баню от крематория
Где уж им читать
Иосифа и его братьев
Ни один из них не вспомнил Великое
Имя
Аполлона – Феба*

*Кто из них может
Назвать девять муз
И решить лукавую задачу
Из мифологии
Почему
Почему была слепа
Богиня памяти
Мнемозина
Их прах
Это правда – прах
ПРАХ
И ничего больше
Многие из них
Это прах семей и родов,..*

(из поэмы Кари
«Письма Томаса Манна», 74-й год)

**«Нам остается только имя: блаженный звук,
короткий срок»**

Уже трижды произнесено имя – Кари. Такое редкое имя, данное родителями дочери, в родословной которой смешались славянские корни, немецкие и, может быть, скандинавские?

...Кари всегда занимала мысль о забвении, краткости человеческой памяти. И еще о том, способна ли культура спасти мир от насилия? В поэме, где имя Томаса Манна всего лишь знак, символ европейского гуманизма, вопросы эти ставятся бескомпромиссно и жестко. «Письма...», если ей удавалось где-то поэму прочитать, всегда вызывали у слушателей агрессивное неприятие и даже шок. Ее обвиняли: в цинизме, юродстве, надругательстве над священными для культуры именами, в разрушении поэзии...

Многие стихи, а также поэмы были прочитаны ею в Таллинне, куда в иные годы она наезжала из Ленин г р а д а

часто, в иные редко, но где у нее образовалась не слишком большая, но своя аудитория слушателей, несколько семей, где ее любили, всегда ждали и охотно принимали, но были совершенно бессильны что-либо изменить в ее судьбе.

...На 42-м году жизни, в начале июля 1983-го года, она погибла в своем городе, в Ленинграде, за две недели до отъезда в эмиграцию.

До сих пор неизвестно, был это несчастный случай или политическое убийство. Так же, как не было известно тогда и прочно забыто сегодня, почти 20 лет спустя после гибели, имя Кари Унксовой и в литературных кругах и в политических. Впрочем, Кари жила вне литературной жизни, идеологии и политики и держалась вдали от диссидентства. В последние годы каким-то образом она втянулась в это движение – скорее всего от отчаяния, от вакуума, в котором пребывала все свои самые активные в поэтическом смысле годы.

Она соприкоснулась с политикой случайно, лишь по касательной, не играя в ней хоть какой-либо видной роли, и уже одно это стоило ей жизни. Кари отдавала себе отчет, что несет ей дьявольский промысел, – это знание, как и многое другое, было дано ей свыше и обозначено в последнем цикле ее стихов «Россия в Лете», меченных прикосновением неотвратимой и близкой смерти.

Кари принадлежала к той категории поэтов, кто пытался в 70-е пробиться в печать и к читателю без литературных покровителей, участия в каких-либо литобъединениях молодежи, семинарах, союзах и прочих объединениях сов. литературной жизни. Это поведение могло показаться, мягко говоря, наивным в стране литературных убийств, литературного приспособленчества и блата, в стране, где писательский труд оплачивался государством, а писатель был обязан служить идеологии, или, в крайнем случае, не мешать ей.

Кари не была наивной. Она была терпеливой и мужественной. Как поэт следовала собственным этическим правилам, которым не изменяла ни при каких обстоятельствах.

В свое время она окончила геологический факультет ЛГУ, недолго работала, и потом навсегда с профессией распрощалась. Но никогда не жалела о годах, отданных геологии. Она

писала стихи со школьных лет, и уже в университете знала себе цену как поэту. Но ее дебют в печати состоялся, когда было ей уже за тридцать и – по тем временам – был блистательным. Впрочем, я сильно забегаю вперед.

«Вертикальный город»

«Таллинн называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Знают, для Таллинна естественно быть чуточку искусственным. В Эстонии – нарядные дети. В Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри-бренди из крошечных рюмок...»

С. Довлатов



*...Но только знай что это гавань
Что это гавань ты запомни
И там в кроссвордах новостроек
Привычно всхлипнула жена
Что пряник, что корица помни
Вдали за линией залива
Там отрешенно и красиво
К тебе примерится волна
Она отпрянет и восстанет
И остановится и грянет
Она грозить не перестанет
И миг разделит на часы
Измерь-ка океан и плотик
Но ты в бессмысленной работе
Ухляби выцыганишь бортик
И вновь кидаешь на весы
За далью пряники и пряжа
И ты о ней не вспомнишь даже*

*Теперь оно уже струна
И мхи ольха и раннакви
И чайки сброшенное «киви»
Над пашней сладостные ливни
Теперь оно уже – страна.
И через множества и страны
Кораблик твой прорежет странный
Воды живой и гневный ток
Все это много раз творится
Но суждено ли повториться
Тебе оплаченный сторицей
Эстонии спокойный док.
И город узкий город острый
Огни и пряжа и ремесла
И каждодневные труды
Там утро трогает оконца
Там позолоченные солнцем
Весьма серьезные эстонцы
Уходят в детские сады
А вечером уже знакомы
Обстукивают крыши гномы
И дышит ужин на троих
Но это гавань – помни это
Когда тебя настигнет эхо...*

К. Унксова

...Наша первая зима в Таллинне. Иосиф возвращается с поздней вечерней прогулки с нашим пуделем Максом. Оба веселые. С порога:

– Мы званы в гости!

Рассказывает. Гуляют с Максом среди высоких сугробов в огромном квадрате нашего двора. Идет пара. Макс роет носом снег, тропинка узкая, не дает пройти.

– Какой великолепный! Откуда?

– Из этого дома.

– У нас здесь таких не бывало... А вы откуда?

– Макс – потомственный таллинец, а мы – из Ташкента.

– Вот как! Нравится в Таллинне?

– Все другое, говорю. – Что же другое? – Мало света, много снега; много продуктов, мало очередей; много автобусов, мало пассажиров; много баров, мало пивных; и пьяных не видно; может, оттого, что холодно? Взрослые разговаривают тихо, дети перекликаются громко, как птицы. И язык, говорю, похож на индейский. Все нравится. А что это до рассвета хлопает, словно пушки палят? Смеются, говорят, народ ковры выбивает.

Спросили, рассказывает Иосиф, как зовут меня, пса и остальное семейство, представились сами – Женя и Лео. Ну, говорят, раз так, Иосиф и Макс, приходите в гости, Таню и Алешу берите, вот наш дом, напротив, номер квартиры, этаж, подъезд.

– Ничего себе... А какие они из себя?

– Женя – маленькая и красивая, Лео – высокий и элегантный. Эстонец.

– Интересно... Как же это, в гости, без звонка, без предупреждения?

– А так, в любой вечер, когда в окнах свет, говорят.

...Связываются воедино появление Кари в Таллинне, ставшее началом ее привязанности к Эстонии, и наше знакомство-дружба с Евгенией и Лео Рандмаа, журналистской четой, сумевшей сделать стандартную панельную «хрущевку» таким уютным, теплым и гостеприимным местом, что мне она помнится именно домом. Мы исправно служили в своих редакциях тягостному режиму, с одной стороны. С другой, постоянно нуждались хотя бы в глотке тайной свободы, которую несли запрещенные книги, запретные темы, запретная информация. У четы Рандмаа собиралось неслучайное общество. Но помимо этого, вам дарились такая человеческая теплота и гостеприимство, что вы отогревались душой надолго. И каждое чаепитие, обед, прием Женя и Лео умели превратить в маленький праздник для всех нас.

...Сейчас, по прошествии лет, цепь, казалось бы, случай-

ных знакомств, дружб, общений уже не кажется случайной. Жизнь выстраивала ее по своим неумолимым законам, по логике, которая сводит людей или разводит их навсегда. И понимаешь однажды, что наши человеческие потери, о которых сожалешь, так же закономерны, как обретения. Только этого никогда не понять сразу, нужны дистанция и время. И только потом, иногда, приходит ясность.

В Таллинне и Тарту у Кари образовался свой круг общения, друзья и дома, в которых она бывала или останавливалась. Самой близкой ее подругой в Таллинне была Ата Малкина, которая, наверное, и познакомила Кари со своими тартускими друзьями – филологами. Ате Малкиной и мы с Иосифом обязаны встречей с Кари, но познакомились с ними обеими в доме Рандмаа, и было это в конце 1971-го или начале 72-го.

...Как-то позвонила Женя и сказала: придет Ата Малкина и приведет свою подругу, поэтессу из Ленинграда, будем слушать ее стихи. Собралось, наверное, человек десять. Кари сидела в кресле, положив рядом изрядную стопку отпечатанных на машинке текстов. Безо всяких предисловий и комментариев, неспешно брала один за другим листы и так же неспешно, спокойно, чистым голосом, с легкой картавинкой, читала нам почти час, нисколько, впрочем, нашей реакцией на читаемое не интересуясь. Закончила, отложила последний лист и подняла глаза на нас. Ни легкого румянца на матовом, бледном лице, ни малейшего волнения в ясно карем взоре, лишь легкая улыбка Джоконды на устах. А мы – мы ошалело смотрели на нее и... молчали. Нас буквально затопили ее стихи, полные странной магии, непривычных и вольных сочетаний слов, таинственного значения и ее собственного, сокровенного знания о человеке, мире, природе. И потом, как-то не по себе от некоторых из них стало в этой элегантной уютной гостиной, словно потянуло каким-то грозным сквознячком, и не только из питерских проходных дворов и площадей, но и откуда-то оттуда, из космоса, что ли... Немоту разрядила сама Кари, сказав – пошли пить чай! И все облегченно засуетились, готовясь к чаю. Только Иосиф подошел к Кари, попросил тексты – посмотреть, тут же получил их и уселся в кресло поодаль.

...Мы уходили последними, вместе с Атой и Кари. Было

снежно и звездно. А когда прощались, Иосиф вдруг сказал: у вас превосходные стихи, Кари, вы прирожденный поэт. Этого пиршества, что вы устроили нам одна, хватило бы на дюжину современных поэтов.

...Они уходили, два стройных силуэта на белом снегу, а мы смотрели им вслед. Вдруг Кари обернулась, подняла руку в прощальном жесте и крикнула – до встречи! Такой я и запомнила ее тогда – в черных брюках, черной штормовке и алом пушистом берете, мягко брошенном на длинные блестящие волосы.

Она похожа на Черного принца, – сказала я.

Она похожа на нормального гениального поэта, – ответил Иосиф.

Она похожа на нормального гениального поэта...

Попытка портрета.

...Кари наезжала в Таллинн внезапно, без предупреждения, и так же внезапно исчезала. Где-то останавливалась, ездила в Тарту слушать лекции Ю. М. Лотмана, общалась с тартускими филологами. Привозила новые стихи и всегда охотно читала их нашей небольшой и по-прежнему безмолвно внимающей ей аудитории. И она сама, и ее тексты обретали определенную власть над нами. Мы никогда не обсуждали их между собой в ее отсутствие и не требовали от нее комментариев, не расспрашивали о ее таинственной для нас жизни. Просто слушали и довольствовались тем немногим, что рассказывала она сама. За пределами Таллинна у нее была неведомая нам жизнь, круг общения в Ленинграде, Москве, в Тбилиси. У Кари не было обыкновения сводить людей друг с другом... Помнится, она называла имена А. Волохонского и А. Хвостенко, считая их поэтическими мэтрами и чуть ли не своими учителями. Нам эти имена ничего не говорили; когда Кари прочитала однажды несколько их текстов, я назвала авторов «побежденными учителями». Мне показалось, что Кари обиделась за них. Видимо, она дорожила этими отношениями.

...Как я сейчас понимаю, притягательность Кари, для

меня, во всяком случае, заключалась прежде всего в каком-то подсознательном и поразительном ощущении абсолютной адекватности ее личности и ее поэзии, внешности и манеры говорить, двигаться, улыбаться, слушать.

Статная фигура, царственный лоб; лицо не то чтобы красивое, но удивительное в ясности и определенности черт, не тронутое какими-либо косметическими ухищрениями, из тех редких лиц, о которых говорят: вне моды и на все времена. Она была дружелюбна, ровна в настроении, всегда приветлива. Обладала отменным, несуетным чувством юмора.

Притом, что много и охотно читала свои стихи, говорила мало и больше слушала. Никогда не вступала в дискуссии и споры, о чем бы то ни было. Могла по-детски и радостно восхититься чем-то, но сетовать, жаловаться, обличать или порицать кого-то – никогда.

Между тем, ее превосходство, интеллектуальное и духовное, было несомненным, но я не помню случая, чтобы она воспользовалась этим в общении. Те, кто были чужды ей, или те, кому была чужда или безразлична она, как-то сами собой отлетали. Что еще поражало в ней? Вот что. Она была божественно свободна в отличие от всех нас.

Как мог иначе воспринимать такую Кари нормальный советский индивид – интеллигент 70-х годов, ходящий каждый день в присутствии, задуренный бытом, обедом, ремонтом. Озабоченный разного рода покупками, вечной нехваткой денег и времени? Кари ничем этим не была обременена. Она нигде не служила, денег, естественно, не зарабатывала, ее быт, а также гардероб доходили порой до аскетизма, за которым начиналась нищета.

Как мог воспринимать такую Кари, к примеру, собрат по поэзии, снедаемый тщеславием, отирающийся в литературных прихожих и салонах, имеющий родственников или покровителей во «властных литературных сферах» и художественно издающийся? Или его редактор? У них ведь тоже было подсознание, и с ним было все в порядке. Между тем, сердечно привязываясь к ней, узнавая лучше и ближе, я понимала, что Кари тоже хотела бы публиковаться, как другие поэты, вносить свою лепту, добытую неустанным литературным

трудом, в скудный семейный бюджет, – о ней и дочке Ладе заботился ее муж, сотрудник НИИ, Толя, Анатолий, которому она была обязана своей свободой от службы и быта.

Это был редкостный в семейных отношениях договор, обет двоих, на долгие годы скрепленный, как я поняла однажды из слов Кари, абсолютной верой Толи в ее дар. Кари никогда не забывала об этом.

Запоздалый дебют

...Шел 1974-й год. Кто-то из московских друзей Кари, через знакомого передал редактору журнала «Смена» подборку ее стихов. Редактор в свою очередь переправил стихи Борису Слуцкому «на экспертизу». Поэт никогда Кари не видел, уже редко с кем встречался и был болен. Стихи прочитал и вернул их в редакцию со следующим текстом:

«С тех пор, как первый поэт на земле, прислушавшись к зарослям, решил, что нет в них ничего ему ближе и роднее соловья, и до нашего времени, до удивительного соловья Николая Асеева и замечательной соловьи Бори́са Корнилова, пели соловьи в стихах.

Кажется, о них все сказано.

Но вот приходит новый поэт и дерзостно называет заглавное стихотворение тем же прославленным именем – «Соловей».

*Кудрявый арап
В царскосельских медвяных садах
Напоен и напитан
И прислан в наш лес отдаленный
Чтоб силок получить
Или пулю в пернатый висок
Или счастья искать
В неразрывных морозных тисках
Или дальше лететь*

*А сюда заглянуть на часок
Или камнем упасть
Или песни плясать или петь...*

Так еще соловья не называли ни Фет, ни Омар Хайям, ни сам кудрявый арап в царскосельских медвяных садах – Пушкин.

Откуда это берется у Кари Унксовой? – пишет дальше Слуцкий ... От многознания, от многочтения, от внимательной любви к литературе, русской и мировой? Трудно сказать. Стихи редко пересказывают жизненные наблюдения. В стихах дорога от ощущения к слову сложнее, извилистее.

*Осенние прошли дожди. Но холод
Еще не пронял рощи. Сухо иней
Не лег на листья. И ольха глухая
Не отроптала ветру. Только август...*

И так далее – всего 13 строк и ни одного неточного, более того, ни одного лишнего слова – слух обострен настолько, что иногда ухо ловит слишком много звуков...»

Этот отзыв Б. Слуцкого был напечатан перед подборкой из пяти стихотворений и стал как бы напутственным словом, так было тогда принято. А Кари Унксова единодушно признана читателями и редколлегией поэтическим лауреатом года журнала «Смена». Эта публикация, под названием «Первая встреча с поэтом», была единственным за всю жизнь Кари актом бескорыстия и доброй воли по отношению к ней как со стороны старшего собрата по поэтическому цеху, так и со стороны издателя.

О поэте и судьбе

Как-то в одной частной беседе, в которой было произнесено имя Кари, Давид Самойлович Самойлов (поэта часто посещали в его пярнуском уединении «ходоки» из Таллинна, местные поэты и просто почитатели), так вот, он обмолвился, что поэт – это божий дар плюс судьба. Очень тогда возбудились

наши молодые таллиннские поэты, гадая, есть ли у них судьба и примеривая это определение к себе. Сам себе поэт судьбу пишет или она ему предначертана? Кто-то спросил, а кого Давид Самойлович может назвать из тех, чьи стихи он слушал? Самойлов сказал – Кари Унксова.

С ее интеллектом и интуицией она определенно обладала даром предвидения, в том числе и собственной судьбы, которая не сулила ей ни долгой жизни, ни мирских благ. Откуда явилось ей это знание? И осознание того, что уже не уйти с этого пути и никуда не свернуть? Никогда не говорила Кари об этом всуе. Эти «масонские» знаки судьбы разбросаны в ее стихах. Самойлов – искушенный опытный мастер, прозрел этот редкостный дар, лишенный какого-либо поэтического кокетства и позы.

Перечитываю – в который раз! – «Венок сонетов». Он написан по классическим законам жанра на тему Поэт и Судьба на одном дыхании, подвластном лишь виртуозу. Ожерелье из 14 поэтических жемчужин, в каждой из которых 14 отточенных строк; венок замкнут 15-м сонетом, которому каждый из 14-ти отдал свою первую строку, силу мысли и образность.

Пробную читку своего «Венка» Кари устроила на нашем маленьком собрании у Жени. Свернутую в трубочку машинописную копию «Венка» подарила мне на день рождения. Я извлекаю иногда драгоценную рукопись из папки и думаю с горечью, сколько же наберется нас, тех, кому довелось его прочесть и испытать потрясение?

...Она достаточно долго вовсе не считала себя в какой-либо оппозиции кому-либо. Ее изумляла реакция на ее стихи редакторов и поэтов, с которыми ей довелось встречаться, до того самого дня, когда она навсегда прекратила общение с редакторской и литературной братией; но тогда ей просто не приходило в голову, что сам ее образ жизни, способ ее поэтического, философского осмысления, признание своей ответственности художника только лишь перед Богом, в те времена, сами по себе, уже были оппозицией и вызовом.

Попытки литературных контактов

Публикацию в «Смене» и лауреатство года в этом журнале Кари восприняла как естественное начало официального признания, да и мы тоже. Вот уже почти 30 лет лежит у меня в папке с надписью «Кари» этот журнал 74-го года, развернутый на странице с ее стихами. Начало и оно же конец, но разве мы могли поверить в это? После своего дебюта Кари сделала несколько попыток контакта с официальной литературной жизнью. Так, она рассказала в одну из наших встреч о своем участии в творческом семинаре молодых поэтов Северо-запада в Ленинграде, так, кажется, называлось это мероприятие регионального масштаба. Секции по жанрам, чтения, обсуждения...

Кари попала в секцию, которой руководил поэт А. К., талантливый, уже известный, со своей нелегкой издательской ситуацией, среди поэтов – безусловный авторитет. Кари прочитала несколько стихотворений и начала поэму «Письма Томаса Манна», как аудитория заволновалась, поэты загудели, чтение прервали, все переходило в скандал. Руководитель, «он был такой бледный, худенький», – рассказывала Кари, был очень расстроен, в гневе и печали он повторял, что у ее поэзии нет будущего, что это тупиковый путь, он ведет только к разрушению, и она, Кари, – разрушительница. Чем все это закончилось? Кари собрала свои листочки и тихо выскользнула из аудитории семинара. Это все.

При всем своем неведении относительно советских издательских правил Кари понимала, что рукописи из «самотека» заведомо обречены на забвение. Уж кто и как свел ее с редактором одного из столичных издательств, я не знаю, но в кабинет она проникла, имела беседу и оставила сборник стихов «Апшиева дорога» с поэмой того же названия. При второй (и последней) встрече, Кари рассказывала, редактор был хмур, в глаза не глядел, сказал, что от названия само собой следует отказаться, долго перебирал страницы и сказал еще, что нет стихов, которыми можно было бы начать сборник. Может быть, она поищет такие стихи? Я сразу предостерегла, как доброжелательно и спокойно выслушала Кари

его замечания, обещала, что поищет, и покинула кабинет. Навсегда.

...Побывала она однажды в Москве и в гостях у знаменитого Евг. Евтушенко. Он слушал внимательно и хорошо, целовал на прощание руки, говорил, со слезой во взоре, что в России появился еще один великий поэт. Этим дело и кончилось.

...Была еще одна встреча в Москве, которая, кажется, и поставила точку в подобных попытках. Каким-то образом переданы были стихи и поэмы Кари уже известной тогда поэтессе Ю. Мориц. Кари рассказывала о встрече, которая состоялась чуть ли не в каком-то московском кафе. Ю. Мориц пришла в сопровождении какой-то «маловыразительной девицы, из свиты», как сказала Кари.

Сидели какое-то время молча. Мориц дымил сигаретой, рассматривая Кари в упор, затем сказала – цитирую почти дословно, как слышала: «Мы сами открыли эту дверь в шестидесятые и крепко захлопнули ее за собой; ваше поколение пусть попробует сделать то же самое. Мы вам не помощники. А что касается ваших стихов – вы законченный, сложившийся поэт и в моих советах не нуждаетесь», – и резко отодвинула от себя рукопись. Кари сказала тогда еще, что Юнна Мориц была похожа на умную и сильную волчицу. Добавила, что сказанное ею было, пожалуй, самым откровенным и ценным из того, что довелось ей услышать от братьев по перу.

И оставалась еще, конечно, оценка старого поэта, которому не было дела до литературных амбиций, политики и прочих игр, а до одного только – собственно поэзии, качества текстов неизвестного поэта, что случайно попали к нему в руки и не вызвали ни агрессии неприятия, ни чувства безразличия к их судьбе...



*Постом постом я напишу стихи
Потом пойму – их некому читать
Постом постом я замолю грехи
Потом пойму – их некому прощать
Неумолим звезды парящий диск*

*Остыло небо и уходит друг
А в глубине спящий обелиск
Обводит тенью осиянный круг.
О погоды побудь со мной побудь
 Поддай мне год хоть день
 хоть чуточку минут
Хоть вспомяни меня когда-нибудь.
 Заря встает и петухи поют
Куда идешь, усталый человек?
Почти размотан маленький клубок
 Исчислен диск и обозначен век
И ты бредишь на выгнутый восток
 И хриплые деревья цепи рвут
 Вдогонку воют чужа мертвеца
Благословен ли постоянный труд
 Идти в восток, не ведая конца?
Кузнец, Кузнец – от кованых сапог
 Смотри, уж не осталось ничего
Отец, Отец – взгляни на раны ног
 И пожалей о нищенстве его.*



Кари Унксова

...В Таллинне вышли вдруг один за другим сборники местных молодых и едва оперившихся поэтов, а некоторые даже были приняты сразу в ССП, как многообещающие таланты. Это сильно нас подбодрило. Разумеется, Кари не могла претендовать на издание «Аппиевой дороги» хотя бы потому, что была «чужая», питерская. Но к этому времени, уже душевно привязавшись к Эстонии, она написала и прочитала нам чудесный цикл стихов о ней, полный нежности и особого состояния, присущего ее городам и пейзажам, сокровенного проникновения в тайну печали, разлитой «за привитым модерном полей».

...Уезжала в Израиль Беата Малкина, близкий друг Кари. След за ней потянулись тартуские знакомцы Кари, филологи, оставив ей на прощание кучу подстрочников из эстон-

ской поэзии, ибо возникла идея – почему бы Кари не заняться переводами, хотя бы и для заработка? Кари тяжело переживала отъезд друзей. И Таллинн, и Тарту опустели для нее.



*Оставляю свой стол одинокий
Оставляю бумаги и книги
Остаюсь напоследок с друзьями
Собираю последние миги*

*За одними сидели столами
За одними столами сидели
Говорили одними словами
И одними глазами глядели*

*Ничего уж теперь не поделать
Бог на помощь, счастливой дороги
Как вы там дорогие придете
На чужие чужие пороги*

*Не волнуйся, кричит отлетая
Эта пестрая черная стая
Не волнуйся, о нас не заботься
Головою себе не морочься*

*И пустыми заходит кругами
Над песчаными над берегами*

*Ах Беата Иосиф и Цезарь
Даниил и Ноэми Ноэми
Не собрала Белая церковь
Прощаюсь со всеми со всеми*

*И в притворе оставленном тихом
С мылом вымою темные сени.*

... Я предложила тогда Кари останавливаться у нас. Мама обычно уезжала в свой домик, в Скадовск, и оставалась на юге с апреля по октябрь. На это время ее комната в полном распоряжении Кари. Мама поставила на стол старую-пре-старую немецкую «Эрику», пишущую машинку, купленную ею когда-то после войны у офицера на рынке, и вопрос был решен.

В Таллинне появляется Сергей Довлатов

Они не были знакомы в Ленинграде. Сережа, как выяснилось, даже не слышал ее имени. Но Кари слышала о нем, знала в лицо и заинтересованно меня расспрашивала. Я рассказывала ей то небольшое, что знала. Его привел к нам Миша Рогинский и представил как своего ленинградского приятеля, писателя и журналиста, который хочет пожить в Таллинне.

Кто такой Рогинский? Журналист и сам бывший ленинградец. Фигура в своем роде уникальная на фоне партийной таллиннской журналистики, а может быть, и не только таллиннской. Сын репрессированного в 30-е годы крупного специалиста; голод и детский дом в годы войны в эвакуации; смешно об этом рассказывает, без всяческого надрыва и жалости к себе, осиротевшему тогда ребенку; уверяет, что девственность потерял именно тогда, в постели воспитательницы, которая отогревала его своим телом... А вообще, красавец и шармер; инженер по образованию, он стал журналистом и считался в среде нашей братии «первым пером республики». Никакой административной карьеры в своей газете «Советская Эстония» он не сделал, поскольку был беспартийным. Но главные материалы на первую полосу, доклады для секретарей ЦК и министров, мемуары старых большевиков – все это была его креатура. Блестящие способности, эрудиция, беспринципность и любовь к журналистике сделали его профессионалом высочайшего класса.

Я рассказала Кари о маленьком эпизоде в баре Дома печати, куда я зашла выпить кофе с коллегами. Шел обычный треп о том, о сем; похмельный Михаил дремал, не принимая участия в разговоре. Кто-то сказал, что по поводу какого-то

интервью, взятого Мишей Бушем и напечатанного в газете, требуют опровержения и придется извиняться за вранье... Вдруг Рогинский открыл глаза и хриплым голосом не без патетики произнес: – Тысячи лживых слов вложил я в уста колхозников, бригадиров, академиков, партийных секретарей, и посмели бы они отречься от них во сне или наяву! – закрыл глаза и опять погрузился в дрему.

Позже, когда он пристроил-таки Довлатова в отдел информации «Советской Эстонии», Сережа очень уж ядовито прошелся по поводу Мишиного журналистского рвения. Михаил, несмотря на свою профессиональную неуязвимость, в остальном обидчив и тщеславен, как дитя. Он вспыхнул: – Но ведь и ты, Сережа, зарабатываешь на жизнь в партийной газете, – на что Довлатов тут же нашелся: – Но ведь я стараюсь писать плохо...

Еще до того, как не было у Сережи никакой работы и он очень нуждался в деньгах, Михаил привел его ко мне на Эстонское радио. Мы стали думать, что бы такое он мог быстренько сделать.

В эти дни в Таллинне был на гастролях Ленинградский театр Комедии, который привез спектакль Петра Фоменко «Троянской войны не будет» по пьесе Жироду. Я делала передачу об этом спектакле, уже записаны были интервью с Фоменко и сцена из спектакля. Сережа сказал, что главную женскую роль играет его знакомая, актриса Антонова, и он идет ее сегодня навестить, причем вместо цветов понесет банку кальмаров, «она их любит». Тут я и предложила ему сделать комментарий о малоизвестном нам авторе-французе и его пьесе. Сережа охотно согласился. Не знаю, смотрел ли он спектакль, но комментарий принес на следующий день и я записала его в студии.

Я сдавала передачу главному обычным порядком, поставила пленку на магнитофон для прослушивания, включила и осталась, как всегда, в кабинете, когда кроме текста требовали пленку. Игорь Евгеньевич Кононов, тогдашний главный редактор нашей русской редакции, спокойно слушал. Вот барственным Сережиным голосом зазвучали первые фразы: «Морозный блеск парадоксов Жироду... отповедь высоколобым интеллектуалам... левацкая французская элита...» и да-

лее в таком же духе. Главный редактор стал багроветь. Он не то чтобы слов таких не знал, просто подобной лексики никогда ни на нашем радио и ни на каком другом, тем более всесоюзном, отродясь не бывало и быть не могло. «Смысл! – кричала я ему – вслушайтесь в смысл!» Но это было бесполезно. Приговор был краток – так и быть, в эфир пойдет, но в первый и последний раз... Я вам говорил неоднократно, Татьяна Алексеевна, у нас дефицит авторов с эстонскими фамилиями, ищите их... способных разговаривать на радиоязыке, понятном и академику и рабочему... объясните это вашему Булатову...

– Довлатову...

– Все равно... как-нибудь необходимо, разумеется...

Сереза получил свои 12 р. за комментарий, и на этом закончился его допуск к эфиру.

– Ну почему, почему Игорь так Серезу обидел? – негодовал Михаил, когда я передала ему всю эту сцену. Но вскоре, как я уже говорила, ему удалось устроить Серезу в свою родную редакцию.

Кари спрашивает, дружим ли мы с Серезей. Да нет... так, приятельствуем. Рассказываю о том, что вокруг Довлатова образовалась в Таллинне большая компания, в которой крутятся его коллеги по Дому печати, знакомые коллег, знакомые знакомых и так далее. Похоже, что Таллинн для Серези большая «расслабуха» после Питера. Иосиф иногда посещает эти сборища, но я туда не хожу, пьяные и ночные, в основном, бдения не по мне, не люблю, да и времени нет. Сереза, при своей колоритной фигуре, остроумии и ореоле «столичности», конечно, центр этого коловращения. Что и когда пишет, не знаю. Для интеллектуального, так сказать, общения наезжает в Питер, там его друзья. Впрочем, у нас он бывает, в основном после бани, трезвый и без приятелей. Человек он обаятельный. Эти посещения я очень люблю. Вкусно кормлю и на стол накрываю особенно тщательно. Сереза спокоен, рассказывает разные байки про свою питерскую жизнь, вроде того, как служил секретарем у писательницы Веры Пановой. Она была уже прикована к постели, он ей читал вслух, иногда они говорили о литературе; если Серезины мысли ей не нравились, она кидалась в него маникюрными ножницами,

ну и про разное, в таком духе. Пока я накрываю, Сережа ходит вдоль книжных полок, вынимает то одну книгу, то другую, иногда стоя зачитывается. Поглядывает на стол и шутит, между прочим, очень сдержанно, вроде:

– Салфетки, мельхиор, бокалы... это обязательно?

– Обязательно.

– А так, чтобы селедка... на газете... нет?

– Никогда, – говорю я, любуясь своим столом.

Не знаю почему, но я всегда интуитивно чувствовала, что тотальное безобразие быта, в котором он пребывает со товарищи, претит и ему, но он этим бравирует, а я терпеть не могу и не скрываю.

Сережа и Ося придумали себе ежедневный совместный заработок, Сережа информацию в номер, Ося фотографию к ней. Что-нибудь о «героях наших дней», портных, продавцах, моряках или ученых. Пять рублей за информацию, три за фотку. И все это до начала газетного рабочего дня. Теперь нам и будильник не надобен, – каждое утро в полседьмого телефонный звонок и бодрый Сережин голос в трубке:

– Доброе утро, Танечка, толкните Оську ногой, пора вставать и идти деньги зарабатывать.

– Надо же, – говорил, беря трубку, Иосиф. – Всю ночь гудел, а в шесть уже на ногах...

– Самодисциплина, сынок, тебе этого не понять, – важно говорил Сережа.

– Ну да, как же... Ты просто вон, какой здоровый, ничто тебя не прошибет...

Вечером Ося рассказывает:

– Идем сегодня с Сергуней на дело – я ему говорю:

– Ты бы хоть что-нибудь заранее узнал об этих световых неоновых трубках, ты же ничего не понимаешь в рекламе. – А он: – Мне ничего не нужно понимать и знать, я уже все написал, только фамилии поставить...

Проходит какое-то время, и в один из приездов Кари опять расспрашивает о Сереже Довлатове. Читала ли я его произведения? Я отвечаю, что только «Зону», повесть, составленную из лагерных рассказов. Сережа отбывал армию на Севере, охранником в лагерях уголовников, вот на этом материале...

По-моему, написано талантливо и очень интересно. Но рукопись не принял ни один из толстых журналов; Сережа показал нам некоторые отзывы, пишут, автор способный, но идеологически – незрело, романтика уголовного и все в таком духе. Показал сильно потертый журнал «Юность», там его рассказ. Послал пять – и надо же, напечатали этот, худший из пяти, которого он стыдится, – сказал это Сережа с некоторой деланной мрачностью.

... Приезжала в Таллинн дочка Сережи Катя с бабушкой Норой Сергеевной, Сережиной мамой. Мы познакомились. Такая пожилая дама со следами бывшей красоты и замашками светской львицы. Во время этого визита Сережа был напряжен, ходил мрачный и потом сказал мне:

– Ничего не могу с собой поделать, я безумно люблю их и скучаю, и так же безумно они меня раздражают, когда с ними общаюсь...

Как-то Сережа попросил меня помочь Норе Сергеевне сделать маленькие покупки в таллиннском универмаге:

– Танечка, вы единственная из моих знакомых таллиннских дам произвели на маму хорошее впечатление...

И, передавая мне Нору Сергеевну, грозно ее предупредил:

– Мама, прошу тебя иметь в виду, Таня очень занятой человек, у нее редакция, сексуальные проблемы у пуделя Макса, сын завел любовницу... Нора Сергеевна воззрилась на меня с изумлением:

– Сколько же лет вашему сыну?

– Ему 13, Нора Сергеевна, Сережа сильно преувеличивает, не обращайтесь внимания, я охотно вам помогу...

Кари попросила, при случае, познакомить их, и я это ей обещала.

... Вместе с Кари в мамину комнату вселилась и легла на стол подле машинки папка, прочно и красиво сложенная чьими-то ловкими и умелыми руками, обтянутая холстиной и снабженная затейливым металлическим замочком. В нее Кари бросала, приезжая «с Маркса на Маркса» (наши улицы в двух городах носили одинаковые названия), вторые и третьи экземпляры новых стихов, в ней держала подстрочники переводов, над которыми работала. Иногда эта папка ждала

свою хозяйку в Таллинне месяцами, я напоминала Кари о ней, она беспечно отмахивалась – я ведь вернусь!

В свои наезды Кари теперь получала ключи от квартиры и жила совершенно свободно. Сын уходил в школу, мы разбегались по своим редакциям; вечерами нас встречал стрекот машинки за дверью ее комнаты, иногда записка, что она срочно уехала в Питер. В папку ложились переводы и новые стихи, и однажды Кари напечатала на отдельной странице: «Балтика, полдень и детство».

■

«Таллиннские дневники» – так назвала Кари цикл, который складывался постепенно, в разные годы, но стихи «эстонской» темы писались отнюдь не только в Таллинне. Кари воспринимала маленькую страну и ее народ очень честно, как иностранка, не прикидываясь «своей». Она пыталась понять Эстонию вне советских реалий, но в контексте ее древней истории, обычаев, географического положения, пейзажа, цвета, – так, как и должно поэту. Ее восприятие было романтическим, и может быть, поэтому эпиграфом к циклу стала строка, отсылающая к таинственному миру сюжетов Эдгара По, одного из любимых ее писателей «О доме Эшеров Эдгара пела арфа».

■

*Что мы знаем про них, для которых погода и грозы
Не приветливый голос, не плащ, а предчувствия тяжкая ртуть
И иглы острие – утешенье покинутых пальцев,
И не смеет тревога в окно заглянуть*

*Что мы знаем про этих кренящих сварное железо
Древним килем упорно взрезающих тело волны
Что мы знаем про смерть, про здоровье бесстрашного смеха
И про синюю лень и достоинство той тишины*

*И в портовой походке и в вежестве глаз отстраненных
Отзвук волн протяженных и дальнего берега дым*

*Мы нечаянно видим их будто иначе рожденных
И иначе влюбленных и звукам покорных иным*

*А у этой невесты в прекрасные детские руки
Уже вложено вложено тонкой иглы острие
И оно как антенна доносит нездешние звуки
И работой приборя размерено имя ее.*

В «эстонской» папке Кари я обнаружила стихи совершенно иные по настроению и ритму, с Таллинным никак не связанные, но, очевидно здесь написанные. Это «Скифские плачи», полные особой, свойственной Кари иронии, которая так пугала редакторов и порой ставила в тупик слушателей. К ним Кари ставит эпиграф: «В полном разгаре страда деревенская...»

■

*Бронею майские жуки
Пируем пьяные от секса
И вяжем синие чулки
И пьем за томик Вознесенского
Ууу! Шлюхи! Синие чулки
У паучихи! Не позволим
Мы не позволим вам уйти
Ату! Догоним!
Назад в трущобы и метраж
Нашли затеи!
За каждый метр – это наш
Хребет потеет!
Назад свисти – и не моги
Какие гости
Небось голубушки
Считать
Мужские кости
Небось и сами под ярем
Согнете выи*

*Кровосмесительный содом
Вы, огневые
УАУ! Мы не просто так –
Мы правим тризну
Мы, иностранец и чужак
Сожжем отчизну!
Сидим мы космы расплетя
На сыть-курганах
Пируем, смерть переплетая
С конским паром
Мы только что его с конем
Похоронили
Ему рабыни рот землей
Живьем забили
Чтоб помнил сладкую жену
Не жил вдовою
Свеча горит, а на юру
Свистит и воеет
У! Скифки! Гадины...*

Кари Унксова. «Скифские плачи»

...Длится и длится на редкость теплое и сухое лето, со светлыми ночами, когда жаль тратить время на сон, после утомительного дня. Мы с Кари, слоняемся по квартире, сочиняя, что бы состряпать на ужин, а на самом деле коварно поджидая Иосифа, зная, наверное, что, не почуяв дома запаха съестного, он быстро приготовит что-нибудь острое и вкусное, и мы будем долго сидеть за бутылкой вина и о чем-то лениво болтать. А пока я вспоминаю, что дама из моей редакции сказала, что нет ничего лучше для поддержания прелести лица маски из густой эстонской сметаны, и лучше это делать сейчас, смолоду, а то потом пожалеешь. Я достаю из холодильника сметану. Кари, которая вообще не пользуется никакой косметикой, ее лицо и так всегда точно умыто ключевой водой, недоверчиво смотрит на банку. Но я настаиваю, и вот мы сидим друг

против друга, как два идола в гипсовых масках и терпеливо ждем чуда. Смываем сметану, бежим к зеркалу и впиваемся в наши светящиеся отражения – лица. Мы такие красивые, что даже жалко оставаться вечером дома, с грустью говорит Кари. Пойти некуда. Посидеть в кафе? Побродить по Вышгороду? Напросится в гости? В театр Кари не вытащить, она его не выносит. Обе столицы бредят театром в эти годы, это и трибуна, и храм, и форум единомышленников... В иерархии Кари современному театру не находится места. Это сбивает с толку и даже обижает. Я страстная театралка и мотаюсь в Москву и Ленинград на знаменитые спектакли.

– Что же тогда?

– Музыка, – говорит Кари. Поэзия. Живопись. Танец. Кино.

– И почему в этой стране не бывает карнавала? – Ты бы пошла? – это говорю я.

– О, да!

– Но, Кари, карнавал ведь тоже театр?

Нам хочется праздника. Желание Праздника сидит в подсознании и томит иногда. Мы обе точно знаем, что в нашем жизненном пространстве его нет и не может быть. Может быть, его нет вообще. Праздник умер в воскресенье, он погребен под апатией и пошлостью жизни. Но мы что-то еще говорим о маскараде, когда-то и кем-то он был придуман, роскошный, чувственный, красочный... Маска, кто ты? Маска, я тебя знаю... Ночь «лимоном и лавром пахнет»... Опасный праздник, все скроет, убийство и яд... Лермонтов... да ведь для режиссеров маскарад в его «Маскараде» фон, а ведь он-то и есть главное, такая грандиозная метафора жизни... это звучит, правда, в прекрасном и грозном маскарадном вальсе, тема рока... а на сцене, – «в твоём театре» – говорит Кари, сплошная мелодрама и пошлость...

– Но мы все-таки идем... туда?

– Мы туда едем! – Кари мгновенно включается в игру. – Но что я надену? – спохватывается она.

– Как что?

С наслаждением и обстоятельно я выбираю ей наряд, подробно описываю ткань, украшения, покрой и цвет. Во мне сидит подсознательное желание нарядить Кари в немыслимые

по красоте одежды. Она слушает с большим любопытством.

– А прическа? Ты забыла прическу! Что можно сделать с этими прямыми, как палки, волосами?

– Никакой прически! – с негодованием говорю я. – Ты просто наденешь на волосы, чтобы лоб оставался открытым, такую жемчужную сеточку, как носили венецианки...

– Ну, хорошо, а что наденешь ты?

Я соображаю что, а Кари говорит:

– По-моему, тебе пойдет что-то египетское...

Я оглядываю на себе старую мужнину рубаху, в которой хожу дома, и пытаюсь представить себя «в египетском», но тут хлопает дверь и появление Иосифа прерывает наши приготовления к изысканному маскараду. Приветствуя всячески его появление, причитая, как мы заждались, мы бросаемся на кухню и лицемерно гремим кастрюлями, пока наши действия не прерывает нарочито свирепый и ожидаемый нами его окрик: – А ну, выйдите все из кухни!..

■

Если есть новоселье, то есть и пирог на столе

И неважно, неважно что стынет и стынет в золе

Мы откроем окно, мы наскоблیم и воском натрем

Этот стол этот пол этот пол этот пол этот стол

Принимаем гостей разноцветные вина нальем

Пусть вина не видна и сияет окошками дом

Пусть лукавая кошка мурлычет в заветном углу

Где не стыть вечерам и не нить зоревому стыду

Где подруги молчат, отпустила их вдовья плита

Где – хоть завтра начать – заозерная ждет красота

Где черника течет, к подбородку течет с пирога

Ох не сват мне не брат только жизнь только жизнь дорога...

Кари У. из цикла «Скифские плачи»

...Иногда мы говорим о текущей литературной жизни. Толстые журналы, – они не входят в круг чтения Кари, а я перелистываю, – регулярно выходят «Новый мир» – «Знамя» –

«Звезда» – «Юность» – «Нева» – «Москва»... сорвешь обложки, не отличить. Километры стихов, гектары прозы, тонны бумаги, тысячи членов и кандидатов в ССП. Бурный серый поток. Продукция уникальных жанров – сов. повесть, сов. роман, сов. поэзия. Но ведь кто-то, где-то, в этой огромной, ужасной, прекрасной стране, пусть тайно, но «настоящее» пишет? Да, конечно, но предъявить может только там, за бутром. «Много званных, да мало избранных»... И я рассказываю Кари о Марине.

«...это наши советские люди, наши братья, такими выглядят чукчи Марины Костенецкой».

(цитата из предисловия к повести)

Я познакомилась с Мариной в Коктебеле. В нашей кампании появилась девочка-подросток по виду, в джинсовом мальчишковом костюме, широкое румяное лицо, коротко стриженные белокурые волосы; карие глаза в черных ресницах смотрят колюче. Когда она освоилась немного и отогрелась на крымском солнышке, рассказала, что она писательница, из Риги, после 10-го класса поехала на Чукотку учительствовать, написала об этом повесть. Эта ее первая книга «Луна холодного лица» вышла в Риге в 73-м, и Марина сразу стала знаменитостью.

Интервью, рекомендация в члены Союза писателей, молодежная лит. премия, и вот, путевка в Коктебель, в дом творчества. Марина была, что называется, на гребне успеха.

Мы подружились. Я привязалась к ней за это короткое время. Замкнутость, какая-то затаенность в ней, и вместе с тем обаяние совершенно естественного человека. Способность бурно и открыто радоваться каждой малости, – солнцу, теплему морю, красивому камушку. Абсолютная несветскость в общении и полная неискушенность в литературных делах. Похоже, она даже не знала, что делать ей с этой, обрушившейся на нее известностью.

Надо было разъезжаться, и я пригласила Марину в Таллинн на Рождество, на что она с радостью согласилась. И вот она приехала, привезла свою книжку с дарственной надписью, по чукотски, между прочим, что переводилось, «Да, я

пришла!» В смысле, пришла в литературу. Толстенькая такая книжечка, в голубой глянцевой обложке, которую мы с Осей, пока Марина гостила у нас, и прочитали.

Что тебе сказать, Кари? Кроме разочарования я не испытала ровным счетом ничего. Гладенькая такая бойкая проза, инфантильная романтическая история о далеком советском Севере и влюбленности чукчи-оленевода в русскую девушку... Словом, в стиле журнала «Юность» – 73. Конечно, Марина ждала отзывов, а у меня язык прилип, бормотала что-то невразумительное и отводила глаза. Не портить же ей премьеру? Но при этом, и у меня, и у Оси было какое-то интуитивное чувство, что Марина человек изначально талантливый, чувствующий глубоко и душевно очень чистый, при этом писать может. При ее некоммуникабельности бумага, быть может, единственный способ самовыражения, откровенного общения с миром... Короче, Иосиф как-то спросил Марину, зачем она, собственно, поехала на Чукотку и зачем ей, девочке из Риги, это было нужно? Комсомольская романтика? Марина ответила, что ни пионеркой, ни комсомолкой никогда не была. И дальнейший рассказ ее поверг нас в состояние шоковое. Понимаешь, мы слушали устный, потрясающий роман о горьком взрослом опыте одинокого и затравленного ребенка, у которого за все школьные годы не появилось ни одного друга и не было контакта с матерью.

Отец был репрессирован и учительница истории представила детям Марину как дочь врага народа. Отец вернулся из лагеря совершенно больным человеком, и если сумел найти общий язык с подросткой дочерью, то отношения с ее матерью, своей женой, восстановить уже не мог. Она была учительница, но его арестом и своей участью отверженной была совершенно раздавлена, а бедностью и одиночеством доведена почти до безумия.

Марина стала в классе мишенью для насмешек. С учителями у нее тоже не возникло контакта... Ее отчаянье прорывалось иногда бурными вспышками гнева, от «нестандартного» ребенка старалась избавиться школа. Единственным человеком, с которым она общалась, стал ее отец, который жил отдельно, на каком-то чердаке, что ли. Я сейчас не помню, кем

он был по профессии, может быть ученым, словом, интеллектуал, и в этом смысле дал Марине очень много, учил и образовывал ее. Марина очень любила своего обретенного отца, но он вскоре умер. И девочка, разбирая его пожитки, нашла дневники, которые он вел на Севере, в лагере, сумел сохранить и привезти с собой. К дневникам была приложена рисованная карта, где были обозначены пункты всех его лагерных пересылок.

Марина разбирала записи отца почти два года, до конца 10-го класса, и дала себе клятву по окончании школы побывать в этих местах на Севере, пройти по следам отца. Разумеется, она никому об этом не говорила, а потом завербовалась на Чукотку. То, что она рассказывает о чукотском крае, условиях, в которых спиваются, болеют и мрут взрослые и дети, просто уже леденит кровь.

Ей было очень страшно и невероятно трудно, надо было при этом не только учиться понимать их язык, но сострадания и любви к этому заброшенному народу, и Марина сумела это найти в своем сердце. Ее подопечные относились к ней с каким-то почти религиозным чувством, как явлению свыше, божеству, которое взялось их лечить, учить и жалеть... Но она там заболела, тяжелой формой туберкулеза, как выяснилось позже, когда ее чудом сумели вывезти на «большую землю», домой, в Ригу.

Марина попала в туберкулезный диспансер, и там ее спасал старый латыш – врач. Он велел хорошо есть, долго спать и смотреть на сосны. Но у нее началась тяжелая депрессия, которая мешала выздоравливать. И она как-то начала рассказывать этому врачу, по ночам, когда он дежурил, свою историю. Тогда старик отгородил ширмой ее кровать от общей палаты, принес пачку бумаги, карандаши и велел ей все записать. Марина стала писать и выздоравливать. Я не знаю, в каком виде эта рукопись попала к местному редактору, но я читала, во что она превратилась... Я только могу себе представить, как они «шили» ей новую биографию, как Марину убеждали, что об этом писать нельзя, об этом лучше умолчать, это перевернуть, и переписывали за нее страницу за страницей... И Марина ничего не могла поделать, у нее не было выхода.

– Все-таки выход был, – сказала Кари.

– Но какой? Она ведь вообще не представляла, что это обычная, типичная история, из нее безжалостно «лепят» молодое писательское дарование, «наша литературная смена», они вроде бы даже благодетельствовали ей...

– И все-таки выход был, – настойчиво сказала Кари. – Отобрать у них свою рукопись. Не позволять к ней прикасаться. А потом начать другую.

– Но, Кари, я рассказала тебе ее историю, ей необходимо было самоутвердиться, может быть, взять реванш, перед теми, кто травил ее в детстве, перед жизнью, наконец. Это было так важно, и так заманчиво... Ты понимаешь?

– Понимаю. Может быть, ты права. Вот только... только я не знаю, напишет ли теперь когда-нибудь твоя Марина свои главные книги? То есть, разумеется, напишет, я думаю, но уже по тем правилам, которые ей так отменно преподали...



*Вот продавив тяжелое пространство
Над хутором приподнялась луна.
Два дуба непомерных развели
Огромные медлительные сучья
И осенили постоянный круг
Где вырос дом – как гриб или валун
Наслаиваясь темными годами
Все прочно здесь и времени упорно.
И стол и лавки и кирпичный пол
И гвозди что держали важно утварь
Продуманную схему сохраняют.
Как черный кит висит сковорода
Напоминая прошлые года.
Здесь молчаливо доживал эстонец
И белоствольная его жена
Утрами заводила тихий кофе
И почтальон как верные часы*

*Бренчал велосипедом у калитки
И тронув белоснежные усы
Желал им хлеба и желал им жизни
И подавал один ли два конверта.
С годами делались на них картинки
Все ярче и все медленнее руки
Справлялись с ожидаемым письмом.
Они так долго долго долго жили
И чудом умерли в один и тот же день.
Остался запах кофе и надежды
И у сарая дикий сельдерей
Разросся в этот год до самой крыши.*

Кари Унксова. 70 -е

Кари и Эстонское радио.

...Кари уезжала домой, оставляя в папке изрядное количество стихов и переводов из эстонской поэзии. Мною в очередной раз овладела идея «диверсии» ее стихов в программу нашей русской радиоредакции. И я поделилась ею с Кари. Правда, уже была до этого попытка дать стихи Кари в «Поэтической тетради», ежемесячной рубрике моего отдела культуры, но попытка эта потерпела крах, и было это так.

Русская редакция Эстонского радио была словно капля в море национальных эстонских программ. Она была независима, как страна Монголия в анекдоте, – самая независимая страна в мире, так как от нее ничего не зависит. В нашей Монголии трудились десять или двенадцать сотрудников, имелся главный и его заместитель, на них и замыкалась вся идеологическая цензура. Это, значит, три подписи на обложке передачи перед выходом в эфир, затем еще одна, четвертая, общего эстонского цензора, который изучал наши тексты с одной только позиции – нет ли в них названий ценных минералов, (которыми так не богата Эстония), не обозначены ли населенные пункты и места дислокации советских войск, информация

о коих могла быть полезной врагу (как будто бы «враг» о них не знал). Лично я на этот счет всегда была спокойна, в передачах на темы эстонской культуры у меня об этом ничего не бывало. «Большому» начальству Эстонского радио наша программа была глубоко безразлична, казалось, оно даже брезгает прикасаться к нашим русским текстам и пленкам, у него хватало проблем с огромным эстонским контингентом подчиненных. Русская редакция имела один час вещания в сутки, и час этот был, в аккурат, задвинут на четвертую программу и начинался с шести вечера, как раз, когда весь наш радиослушатель ехал с работы домой или толпился в очередях в магазинах. Фактическая недоступность нашей программы была такова, что мне казалось, по ней можно было озвучить всю самиздатовскую литературу, Хронику текущих событий и все, что с таким трудом, сквозь рев глушилок, вылавливал народ в эфире из передач зарубежных радиостанций. Было бы только на это добро главного... Короче, я собрала тогда подборку стихов Кари под рубрикой «Поэтическая тетрадь» и понесла на подпись.

Конечно, ни слушателей, ни известности Кари это не прибавит, но зато будет гонорар, в котором она так нуждается.

Тогдашний главный редактор, Игорь Евгеньевич Кононов, «местный» русский и сам переводчик какой-то эстонской прозы, был человек неглупый, спокойный, властный, разумеется, всю эстонскую реальность знал хорошо, и в ее буржуазном прошлом, и в советском настоящем. К эфиру не допускал лишь местных авторов с общепризнанной «сомнительной» репутацией, до прочих ему не было, как правило, никакого дела. Игорь Евгеньевич взял меня в свое время на работу, молодого, никому неизвестного в Таллинне журналиста, высоко оценивал мои передачи, вкусу моему доверял, и отношения наши были самые приятственные и дружеские. Держа все это в уме, я и подсунула ему стихи Кари.

...Обычно раздавался телефонный звонок и краткое в трубке – заберите и несите на цензуру. На этот раз – зайдите ко мне! Разговор состоялся, примерно, такой: ну, зачем это нам, Татьяна Алексеевна? Какая-то никому неизвестная поэтесса, привязки к Эстонии никакой... Вы же знаете, я ничего в стихах не понимаю, но из них хотя бы должно чувствоваться, где, в

какой стране она живет? И сами стихи какие-то невнятные, непонятно, о чем? Бред какой-то, я извиняюсь, конечно... Чистое разбазаривание гонорарного фонда... Пожалуйста, заберите и замените передачу... Дайте что-нибудь о флоте... Борю Штейна. И не переживайте так... Пыталась я его уговаривать и уламывать, мы ничем не рискуем, и.т. д. Но И. Е. уперся, и – точка.

...Эта единственная, начитанная Кари на Эстонском радио, отставленная от эфира запись, не сохранилась. И по идиотским техническим правилам, когда мы должны были отчитываться за каждый метр израсходованной казенной пленки, и по непростительной молодой беспечности, когда казалось, что все мы будем жить вечно.

■
*Это осень – такое время
Время озими время казни
Искушенья теряют силу
И душа одинока в небе*

*Это август такое время
Время острова время храма
Время озера в тайне чаши
Время чаши и взора время*

*Ну а море о море море
Что плескало медуз в лазури
Превращает себя в пространство
Одиноких и горьких прений*

*Даже в небе простые звезды
Что мерцали на радость сердцу
Застывают на гнущей тверди
В зодиаков зловейщих дуги*

*Вот и город такой же город
Город остров и город гавань*



Татьяна Зажицкая

*Горожане простые души
Мокнут астры на древних стенах*

*А в порту где смола и краны
Там где плоско легла марина
Вечность с блюда воруют чайки
С криком жадности и надежды.*

**Русский «круг» в Таллинне.
Поэтический вечер на улице Харью
с раздачей стихов.**

Но в один из таллиннских вечеров в зале Союза писателей Эстонии на улице Харью состоялся поэтический вечер Кари, незабываемый в своем роде, ибо ни в каком другом месте, и ни в каком другом зале, такой вечер состояться не мог.

Организовала его, то есть смогла получить на пару часов зал, под свою ответственность, известная таллиннская переводчица Елена Борисовна Позднякова. При общении с ней сразу возникало ощущение встречи с человеком «другой» культуры, что и было на самом деле, – Елена Борисовна, так же, как и ее старшая сестра, Татьяна Борисовна, принадлежали к русской дворянской семье, обосновавшейся в Эстонии еще до революции, а после оккупации Эстонии советскими войсками, разделившей судьбы многих эстонских «буржуазных» семей – аресты и высылки в Сибирь. Сестры высылались дважды, с матерью, мужьями и детьми. После одной из ссылок погиб муж Елены Борисовны. Старшее поколение семей, прошедших этот путь, держалось вместе, это был особый, таллиннский «свой» круг, к нему принадлежали и покойные родители Беаты Малкиной, подруги Кари. Ата была для сестер, что родная дочь. Уезжая навсегда в Израиль, Ата и «передала» Кари этим очень близким и дорогим ей женщинам. Я познакомилась с Еленой Борисовной и с Татьяной Борисовной независимо от Аты; нас связывала взаимная симпатия, и разница в возрасте вовсе не была помехой. Елена Бо-

рисовна жила с дочерью Леночкой рядом с Домом радио, где я работала, недалеко жила Ирина, дочь Татьяны Борисовны, и я забегала к ним на чашку кофе, меня всегда влекло к этим «русским европейкам», как я, про себя, их называла. Разумеется, я тогда не знала никаких подробностей и обстоятельств судьбы двух пожилых красавиц, интеллигентных и умных, приветливых и полных женской прелести, возрасту неподвластных; но, думаю, Кари все знала о них от Аты.

Общество неэстонской, скажем так, интеллигенции, которая жила «кучей» среди эстонцев, «как озеро среди берегов» в маленькой эстонской столице, имело свою иерархию, свои отношения, а так же круги общения. Обращало внимание, что круг переводчицы эстонской прозы Елены Борисовны Поздняковой, к примеру, отличается и почти не смешивается с другим известным таллиннским кругом, центром которого был писатель – фронтовик Григорий Михайлович Скульский, поселившийся с семьей в Таллинне после войны, чуть ли не один из основателей русской секции эстонского писательского Союза, а теперь корифей местного масштаба. В этом кругу люди были в основном «пришлые», а не «местные». В писательской квартире Скульских собирались на шумные застолья разного рода «начальники» таллиннских русских литературно-театрально-журналистских ведомств, которые обладали в этих сферах влиянием, были информированы о том, что делается «наверху», и от которых в той или иной степени что-то зависело. Душой общества был Григорий Михайлович, человек мягкий, умный, многое понимающий и осторожный. А организатором и хозяйкой застолий Раиса Владимировна, которая несла обязанности писательской жены самоотверженно, с большим достоинством, и бдительно.

Если произведения эстонских писателей в те годы потоком шли к русскому читателю, то есть переводились почти вслед за оригиналом, то литературная продукция русской секции оставалась вещью в себе. Жизнь русской секции, можно сказать, тлела, но какие-то манускрипты издавались. Разумеется, я тогда не могла понять причин, скрытой за светской улыбкой, взаимной неприязни моих новых знакомых. И только много позже, уже в перестройку, в 89-м году, разбирая вместе с Та-

тьяной Борисовной вороха ее рукописей из полиэтиленовых мешков, повесть о судьбе ее семьи, которую она писала вовсе не будучи литератором, и 25 лет прятала от КГБ, я поняла истинные причины этой многолетней бескомпромиссной несовместимости. Почему я всего этого коснулась? Потому что единственный в жизни Кари открытый литературный вечер состоялся в Таллинне, в зале Союза писателей Эстонии, тогда, в середине 70-х. И организовала его член этого Союза, бывшая ссыльная, Елена Борисовна Позднякова. И невозможно было себе представить, чтобы хлопотал о Кари кто-нибудь из того, другого, влиятельного круга.

...Разумеется, не было ни афиш, ни пригласительных билетов. Просто позвонила Елена Борисовна и сказала, что получила зал. Мы обзванивали своих знакомых, знакомые своих, тех, кому это могло быть интересно. Собралось, помнится, человек пятьдесят-семьдесят. Кари, в своих неизменных черных брюках и свитере не стояла на сцене, за кафедрой, она присела сбоку на низкий просцениум, положила рядом стопку листов, – она всегда читала по тексту. Внимательно посмотрела на нас, улыбнулась и начала чтение... Власть ее над аудиторией была легка и мгновенна. Это было как чудо. Прочитывала стихотворение, затем чуть вопросительно взглядывала на слушателей, те аплодировали и требовали еще, еще. Когда она закончила чтение и замолкли аплодисменты, кто-то из слушателей подошел к Кари и попросил на память стихотворение. Кари с готовностью подписала и протянула листок, и к ней стала выстраиваться очередь. Такого я не видела в жизни, – чтобы поэт дарил на вечере свои тексты! Стопка листов таяла на глазах, тогда Иосиф закричал в шутовском ужасе – Кари, что ты делаешь, остановись, наши местные пииты все разворуют! Пусть, улыбаясь ответила счастливая Кари, мне не жалко...



*И ныне он и присно пред тобой
Неясный звук что обрастает плотью
Меня перья в радужных лохмотьях
С пульсирующей слабо головой*

*Он детище свое любимым твой
В нем дышит пульс в нем яростно молотит
Хрипит и бьется, множится, колотит
И испускает первозданный вой*

*Когда же он дрожит едва дыша
Его укрыть покровом слов спеша
Ты наклоняешься над теплой зыбкой*

*Он смотрит взглядом ящериц и птиц
И затихает в шелесте страниц
Необорим загадочной улыбкой.*

Кари У. 9-й сонет из «Венка сонетов»

Еще одна попытка «продать» стихи Кари на Эстонское радио.

Между тем, меня не оставляла идея «продать» стихи Кари на наше Эстонское Радио. И я придумала новую стратегию. Было время летних отпусков, редакция поредела, Главный тоже ушел в отпуск. Заместитель бдел над общественно – политическими передачами; по культуре, как не таящие, по его мнению, идеологической опасности и вообще чуждые ему по специфике, подписывал не читая. Бывало, брали на визу русские передачи в отсутствие нашего Главного, заведующие «больших» эстонских редакций, тоже по принципу родственной специфики. Но так как ни по малому, ни по большому счету, русские программы их не интересовали, они делали это исключительно редко и выборочно. К этому времени уже лежали в папке Кари переводы из эстонской поэзии, – Дж. Изотамм, Марие Ундер, Вальтер Адамс и цикл « Балтика». Полная «привязка» к Эстонии была налицо. Итак, передача «Новые стихи и переводы из эстонской поэзии» была готова к эфиру. Подумала, убрала из титула « «Новые» и «стихи». Просто «Переводы из эстонской поэзии», привычная, ничем

не примечательная рубрика. Заместитель подмахнул обложку не читая, подписал, как положено денежную ведомость и я понесла передачу на визу к цензору, на предмет отсутствия в тексте запрещенных географических названий и ценных минералов; текст автоматически поступит на выпуск, и я могу готовить передачу к записи.

...Около девяти вечера телефонный звонок. В трубке женский, с эстонским акцентом голос, доброжелательно произнес: «Таня, зайди ко мне». Так!.. Лайне С., главный редактор «большой» эстонской литературной редакции. Ничего себе, «зайди», будто я нахожусь на другом этаже дома Радио, а не у себя дома, на Маркса. – Когда? – Сейчас. – Что-нибудь срочное? – спрашиваю осторожно. – Да.

...Лайне С., ответственная старая партийка, ведавшая всей эстонской радиокультурой, уютно сидела в кресле, сбросив домашние тапочки, набросив на плечи вязаную шаль, как обычно, всем своим видом показывая, что для нее редакционный кабинет дом родной, не то что для нас, грешных. А сама она для подчиненных, что мать родная, если и пожурит, то от большой беды спасет.

– Садись, Таня, – ласково говорит Лайне, глядя в упор ледяными серыми глазами. Перед ней пачка визируемых передач, сверху моя. «Переводы...». Выловила-таки, – злобно подумала я. Дальше последовал примерно такой диалог:

– Ты хорошо знаешь эту поэтессу э.. э... У-н-к-сову?

– Да, – по рекомендации, очень талантливая ленинградская поэтесса, влюблена в Эстонию, – бодро говорю я.

– Скажи, ты знаешь, кто делал ей подстрочники?

– Понятия не имею... Кто-то из Тарту, кажется. Это важно?

– Интересно, здесь случайный подбор имен, они ей рекомендовали, или она сама выбирала? – задумчиво продолжала допытываться Лайне.

– Конечно, случайный... А что, Лайне, эти поэты, разве они запрещены? Все взято из эстонских официальных изданий...

– Да, но у радио свои законы... Не все, что печатается мы можем или обязаны передавать... И потом, русские радиослушатели еще не готовы... Скажи этой, как ее, Кари, пусть зайдет ко мне и я ей порекомендую... молодые, перспективные... Речь

Лайне журчала дальше, но я уже не слушала ее. Да что же это такое?! До моего сознания дошло слово «Заменить...» и я поняла, что аудиенция окончена и дело обжалованию не подлежит.

У Кари в Питере на Маркса

...Мы с Осей собираемся на несколько дней в Ленинград, и накануне я звоню Кари. В трубке:

Приезжайте и приходите. Приготовлю в вашу честь страбургский пирог...

Не без труда находим адрес на проспекте Маркса. К дому можно подойти двумя путями – с набережной Невы, это недалеко от гостиницы Ленинградская и со стороны Финляндского вокзала, по трамвайной линии, а потом лабиринтом дворов.

Дом и двор Кари, это нечто. Кажется, ничего здесь не изменилось со времен Достоевского, только ветшало и разрушалось. Мы бродили по кругу мрачного колодца двора, заставленного какими то ящиками, баками, засыпанного осколками винно-водочной посуды. У начала дома или его конца подъезд не было, несколько полуразрушенных ступенек вниз, окна почти на уровне тротуара и сразу дверь. Мы заглянули и туда, на всякий случай, – на двери номер квартиры Кари!

Много позже, прочитав Автобиографию, написанную Кари для Иностранного Издателя, я нашла там описание и этого дома, и полуподвальной квартиры, ставшей пристанищем ее семьи после эвакуации из Алма-Аты, – родителей, детей и бабушки. Здесь выросли Кари, ее сестра, двоюродный брат; эту квартиру оставили Кари родители, когда она вышла замуж, здесь росла дочь Кари и Толи Лада и предстояло жить их сыну.

«...Крики «победа! победа!» Радость и чувство перемен. И мы долго, кажется три недели тащились в темном тошном поезде в Питер, там поселились в страшной, без пола, с сырыми стенами, грибами в клозете и отставшей штукатуркой полуподвальной квартирке с длинным коридором, большой кухней, кишевшей крысами и мокрицами, и тремя маленькими комнатухами, где и живем до сих пор. Надо мной опустился

черный полог. Я тяжело переносила перемену климата, полутогодное, без витаминов северное существование... Я сразу пошла нарывами, лицо было навсегда изуродовано, светлые вьющиеся волосы были острижены наголо и прорастали темным нестойким пухом. На душу спустился мрак. Я изнывала от тесноты, от ощущения, что я МЕШАЮ, непереносимого для меня и поныне. Думаю, что на самом деле мне нужно бы целое крыло то темных, то светлых пустынных комнат, где я бы бродила, разбрасывая и собирая свои бесконечные бумаги – усталость от тесноты сдавливает мне горло... Помню сладко-грязный запах помойки, гири на чугунных цепях – помойка была прямо под нашими окнами. Битюг и флегматичный конюх, вилами поднимающий на воз дымящуюся волокнистую жижу. Помню крыс, висевших на этих гирях, и других, которые плотно – спинка к спинке, – сплошной лоснящейся массой обсели другую помойку, за домом... На пустырях сияли кузнецовские осколки орлами на изнанке кобальтовой подглазурной синевой, тонкая истертая позолота чашек, обломки фаянсовых туалетных тазов, синие, красные, иногда особенно тонкие оранжевые стеклышки. Нагретые стены домов источали подавленное, сырое, но тепло. Около них росла трава, и я постепенно отогревала душу. Я беспрерывно, изводно болела. Болела от отчаяния, от изгнания из рая. Жизнь я сносила с терпением, но желания к ней у меня не было. Прошло несколько лет – выездами на дачу, где солнце на минуты возвращало мне целительный детский сон, с более тесным общением с кузенами и сестрой, с вечными очередями, где я паслась со своей бабушкой целые дни, – пока наше жилище, а вместе с ним и я, не начало, наконец, как-то жить и дышать.

Мать моя, тяжело работая – тогда был чуть ли не двенадцатичасовой рабочий день, а для интеллигенции он и вообще длился бесконечно, – ночами делала отчаянные усилия, чтобы придать нашему дому вид человеческий и даже пристойный. Появились крахмальные вышитые наволочки, камчатные скатерти, серебро, цветы. Даже зимой, хризантемы и примулы, большой обеденный стол. Помню, высокие хризантемы стояли внизу под столом и свешивали свои изогнутые круто головки. Появился большой дымчатый кот, очень свирепый,

несмотря на операцию. Он давил крыс и не выносил шума – вцеплялся в ноги до крови. Привезли пианино, и начались занятия, мучительные, с безграмотной учительницей, которая сама пошла вряд ли дальше Детского альбома Чайковского, но была настолько переполнена самолюбием, что оно ей мешало говорить, как иным мешает зоб. Она тихими резкими вскриками мстила нам за все-про-все и дай ей волю сломала бы мне все десять пальцев – я ясно слышала в ней это жгучее желание. У маменьки же по отношению к ней был приступ корректности, иногда ослеплявший ее до потери ситуации, и она ей все прощала, пока на экзамене в музыкальную школу не оказалось, что мне вправду почти безнадежно выломали руки. Если бы я могла, я бы провалилась сквозь землю от этих уроков, но сама, одна, я очень любила подойти к пианино и часами нажимала всего несколько нот, главной из которых была си-бемоль: все сказки – мне уже тогда много читали – оживали для меня именно в этой ноте. Осенняя песня Мендельсона и вальсы Шопена, которые папа, глубоко закусив губу, иногда поигрывал, запаздывая мелодию, что создавало дополнительный тоскливый эффект. Замки и озера, замолкшие фонтаны и статуи с отбитыми руками, воплощенные для меня въяве в пустырях в гипсовой, поверженной в крапиву статуе одноногого мальчика в длинных ненужных трусиках, – я много рассматривала тогда книгу «Эллада», – дымные умирающие ивы, свободные закаты. Смутный призрак потерянного рая, и иное воплощение ЭТОГО НИКОГДА – все для меня соединялось в ноте си-бемоль, холодной, меланхолической, особенно безнадежной. И эта же нота, а также другие, например, верхнее до, имеющее для меня солнечно-травянистый смысл, или нижнее, твердое, бодрое, волевое – все эти ноты начинали бессмысленно рывкать, лишь только я соединяла их в веленую мне мелодию судорожно сведенными пальцами...».

...Третий или четвертый машинописный экземпляр «Автобиографии» на плохой серой (а сейчас уже и вовсе желтой и хрупкой) бумаге я получила от Кари вместе с ее эссе о ленинградских нелегальных художественных салонах; было это в 82-м году, во время встречи, которая оказалась последней, но мы тогда этого не знали.

Ну а мне трудно найти точный образ этой квартиры, в которой мы с Осей тогда очутились после блужданий по проходным дворам. Жизнь в ней проходила в основном при электрическом свете, ветхость стен была равна ветхости мебели, и при всем этом возникало странное ощущение особого уюта и защищенности от внешнего мира. У каждого члена семьи свой угол, кое-где старинные безделушки, редкие книги.

Кари ждет ребенка. Она пополнела, лицо усталое и очень бледное. Двигается осторожно и очень непривычно видеть ее «на хозяйстве». Мы познакомились с Толей, худощавым, светлоглазым и русобородым, в клетчатой ковбойке и джинсах. И с шестилетней Ладой, тоже русоволосой, но темноглазой, худеньким, молчаливым, серьезным ребенком. Страсбургский пирог оказался вовсе и не пирогом, а толстым розовым паштетом, обложенным белым шпиком. Чтобы приготовить эту изысканность, Кари, оказывается, в 6 часов утра занимала очередь в магазин мясокомбината, чтобы добыть необходимые продукты; их «выбрасывают» не всегда, но на этот раз «выбросили» и она была очень довольна тем, что затея удалась. Мы ели пирог-паштет запивая белым вином, и обменялись новостями. Самая главная из них – Кари знает, что у нее будет сын, и знает его имя – Алексей.

Я увозила из Ленинграда в Таллинн машинописную копию фрагментов ее новой вещи под названием «Поэма о замкнутом пространстве». Построенная по законам музыкального произведения программная поэтическая симфония в семи частях, где каждая имеет свое название и свой поэтический размер:

ПРОГРАММА

1. Посвящение. Пятистопный ямб
2. Нисхождение в двух ступенях
Верлибры
Свободный ямб
3. Плач по своему телу. Пятистопный ямб
4. Плач по своему пространству. Верлибры
5. Альба. Хориямб
6. Коллаж из двух народных песен. Дольники

7. Ликование. Амфибрахий

Я до сих пор не знаю, были это рабочие пометки Кари, или открытый прием – приглашение в свою мастерскую? Поэма посвящена четверем поэтам. У меня сохранились «Посвящение» и «Плач по своему пространству», и я не могу удержаться от соблазна привести их полностью. Похоже, Кари писала свою поэму абсолютно свободной от каких-либо иллюзий, в том числе и в отношении возможности ее публикации.

1. ПОСВЯЩЕНИЕ.

И. Бродскому
А. Волохонскому
Г. Воскову
А. Хвостенко

*Бесценные учителя мои
Тебе изгнанник нервный и понурый
Певец пронзительный гудящий древний лук
Изогнутый отравленной стрелой
Тебе блистательный и радостный схоласт
Ты птаха среди знаков зодиака
К моей свече сложив крыла и плац
Слетающий. И ты мой прежний друг
Наставник терпеливых чаепитий
Замолкнувший. И ты родной певец
Открытый легкий стаи отлетевший
В своем гнезде неведомый теперь –
Прилежные мои благоговенья.*

4. ПЛАЧ ПО СВОЕМУ ПРОСТРАНСТВУ

*Никогда никогда
Говорят что существуют
Туристические рейсы в Антарктику
И значит голубые айсберги*

Политы желтой мочой
Организованное стадо
Деловито ловит пингвинов
В квадратные кадры
Изумительных по яркости слайдов
Но нам но нам
Не добраться и до Северного полюса
А те кто там побывали
Не были больше нигде.
Та же глянцевая пленка
Химических красок Кодак
Единственное око
В джунгли или пустыни.
Никогда я больше не буду
Девой что силой чистоты
Побеждает песчаного льва
Никогда больше
Моя безупречная верность
Не кинет меня на костер
Мне незнаемо вовеки
Страшное потрясение
Первого касания рук
Я уже не могу
Беззаветно отдаваться дружеству
Я знаю что завтра
Друг покинет меня
Брат мой брат мой любимый брат
Наперсник несытого детства
Ушел от меня навсегда
Так будет так будет
Вырастают голенастые дети
Наши первенцы погибают
На острых ланцетах хирургов
Телефоны звонят

Сообщить несколько слов
С которыми обрываются
Лоскутки былых любовей
Так будет так будет
И иначе уже никогда.
О моя бессмертная Психе
Слишком много я знаю
Чтобы снова и снова
Ломать кровавые перья
О ножи и ржавые звезды
Слишком много я знаю
И слишком мало могу.
А если это любовь –
То земля горит под ногами
Слишком много я знаю
О том что такое грех.
О моя бессмертная Психе
Все это уже умирает
Умирает сейчас
Не дождавшись последнего дня
Из этого кокона
Ты вылетаешь заснув
Но мы не знаем
Этого мы не знаем.
Тогда совершается
Последняя справедливость
И тот кто жену
Бил по свежим швам
Отекшего живота
К тому она
Приходит в последний час.
И смертный пот
Выливает плача от жалости
Старуха у которой

Дочь блядь а сын в тюрьме
И брошенный внук
Играет вчерашним калом
Пока она
Плачет и кается в церкви
К ней приходят
Из самой – самой богатой иконы
Отборные ангелы
Исключительно только к ней
И в светлый рай
Где святые в амбарных книгах
Аккуратно записаны
Жирным сусальным золотом
Из этой юдоли
Пропитанной смрадом несчастий
Ее ведут
Под сухие но белые руки.
Но ты если
Тебе даруется роскошь
Умереть естественной смертью
Ты умрешь не так.
Самый тайный
Из твоих омерзительных помыслов
Сначала сбудется трижды
У тебя и в тебе.
Ты будешь умирать многожды
Раздавленными тобой комарами
Над тобой покуражится
Самая слабая тварь
Когда ты забудешь
Начало своих мучений
Тебе дадут знание
Непонятное никому
Ты будешь мычать

*Отчаянно жестикулировать
Тебе скажут:
Да, да веселящий газ.
И ты поймешь
Что это не было смертью
Но уже никогда не поверишь
В то что ты живешь
О дети дети
Дети, как мы жестоки
Бедные матери
У которых украли время
Бесценное время
Время вашей любви.*



*Умылся небо и блещет прекрасной мечтой
Красиво красиво как дерево выгнулось в твердь
Береза оделась берестою как наготой
А рядом хохочет и бьет топориная смерть.
Источник отчаялся звук первозданный издать
А рядом хохочет и бьет топориная тать
И кличет осина кукушку на рваном ветру
Оранжевым соком исходит ольха – никогда не умру!
Кукушка зашла на суку никогда перестать
А рядом хохочет и бьет топориная рать.
И смелым бессмертием ранится лучик четы
Идет к ипподрому я многие многие ты.
Там спелую лошадью плотный заполнен садок
Там скачут в камзолах беря у курносой урок
И зрак золотистый косится на радостный гром
Копыта сметают барьеры ревет ипподром
Лошадки дрожат раздраженно и темен их пах
В них страх притаился зашитый неведомый страх*

*Ах как же когда же и где же достанет топор
Лошадки по кругу проедут и весь разговор.*

Осень 78-го

Кари приехала в Таллинн утренним поездом после долгого отсутствия и совсем ненадолго, ночным поездом обратно. Она похудела, казалась озабоченной и усталой. Последний год ее жизнь делится между Ленинградом и Москвой. Там у нее образовался свой круг, далекий от литературы, о котором я узнаю очень мало. Художники, фотографы, музыканты; какие-то посольские люди, какие-то московские квартиры-салоны, где организуются выставки и концерты. Разумеется, все они существуют вне культурного официоза, в кругу ее московских друзей есть совсем молодые люди, много моложе ее, и все они, по ее словам, талантливы, и «все они поэты», и она очень хорошо себя чувствует среди них.

Она попросила свою папку, что хранилась у нас, рассказав при этом странную историю. Толя позвонил ей в Москву, сказал, что обокрали их квартиру, когда дети были у бабушки, а он на работе, и просил ее приехать. Она приехала поздно, без ключа, в окнах было темно, звонок не работал. Она поставила дорожную сумку перед входной дверью и отошла буквально на несколько шагов, стукнуть в окно. Когда вернулась – сумки не было. Двор был абсолютно пустынным. Как сквозь землю провалилась...

– Что было в сумке, Кари?

– Совершенно незначительные вещи, не имеющие никакой материальной ценности. Кроме них рукописи. Старые и новые тексты. Но это еще не все. Через два дня сумку подбрали. Все было на месте, но бог мой, в каком виде... Рукописи измяты, изорваны, изгажены.

– Как ты думаешь, Кари, кто?

– Не знаю. Может быть, бомжи, или алкаши, они все время толкуются во дворе, сдают тару... Может быть, от досады, что ничего для них ценного. Но, понимаешь, двор был абсолют-

но пустой. Я теперь должна многое восстановить, там были и единичные экземпляры. Вот и собираю сейчас свои тексты.

– А что унесли из квартиры?

– Немного столового серебра, старинные книги... Мы с Толей сделали заявление о краже в милицию с описанием вещей.

Кари разбирала тексты, одни бросала обратно в папку, другие откладывала. У нас оставалось несколько часов до поезда и Кари спросила, что нового. И я рассказала ей, как провожала пару месяцев назад в Штаты Довлатова.

У Сережи Довлатова на Рубинштейна

Рассказываю Кари, как зашла к нему на Рубинштейна, было это в августе. Сын держал экзамены в Университет и мы целый месяц жили тогда в Ленинграде в семье моего брата, Саши Нинова. Как-то позвонила Сереже. Трубку взяла Нора Сергеевна, сказала, что у них много событий и просила непременно зайти. Звоню. Дверь открывает Сережа, но в каком виде... Голова обрита, лицо в кровоподтеках и ссадинах. – Сережа, что с вами?! – Рассказывает дикую историю. Уже было получено разрешение на выезд, когда в его отсутствие явился участковый и сказал Норе Сергеевне, что надобны их паспорта, для какой-то отметки, завтра сын может получить их обратно в отделении милиции. Мать отдала паспорта. Сереже этот визит очень не понравился, уже была какая-то история с милицией, он выговорил матери, но делать нечего, надо было идти. Пошел. Его принял какой-то милицейский чин. Этот хмырь вел себя нагло, на вопрос, можно ли получить паспорта, не ответил, а потребовал, чтобы Сережа при нем написал показания о том, как он, Сергей то есть, избил участкового и спустил его с лестницы. На попытку объяснить, что никаких таких действий он не производил и не собирался, никак не реагировал, пододвинул какую-то бумагу, сказал, что это протокол, вот подписи свидетелей, и он, гражданин Довлатов, арестовывается на 15 суток принудительных работ за хулиганство. Это была открытая и наглая провокация. Качать

права или не сопротивляться и не спорить? Сережа сказал, что нервы были у него напряжены до предела, и полагаются он мог только на интуицию. Или они сгноят его в тюрьме, или он отсидит, вырвется отсюда и уедет. Он решил, что должен выдержать эти 15 суток и выйти отсюда.

Уводил его в камеру знакомый участковый. – Что же ты, гад такой, понаписал там, – не выдержал Сережа. – Я что, тебя трогал? Тот ухмыльнулся. – Тронул бы, годков на пять сел, скажи спасибо, что на 15 суток...

Дальше вот что произошло. Сережа сказал, что мог вынести все, штаны без ремня, башмаки без шнурков, самую унизительную работу, отвратную еду и тухлую воду, а вот без курева не мог. Брат Боря, во время одной из работ на «свежем воздухе», ухитрился передать ему сигареты. Это было запрещено, при выходе из камеры и входе обыскивали. Сережа придумал закатать несколько штук вместе с рукавом рубашки до локтя. При обыске их нашли... О, Господи... Он рассказывал все это без обычных своих хохм и шуточек, на себя был не похож. Глаза воспаленные, и в них слезы, злые такие. Понимаешь, громадный, здоровый мужик, он это унижение не может забыть... Короче, затолкали они его в каменный мешок, карцер что ли, и набросились. Их было трое, и они били его по чему попадая ремнями с пряжками, а он стоял прислонясь к стене, прикрывал лицо и думал только о том, как бы не упасть. Он с таким отвращением рассказывал об этом, по-моему, к себе самому больше. – Я мог бы, говорит, одной своей пятерней сдвинуть сразу три их горла, хилые такие смрадные мужичонки, в раж вошли, прыгают вокруг меня. Но пальцем не шевельнул, это был бы конец, не выпустили бы его...

– Не понимаю, – говорит Кари, – они же дали ему разрешение на выезд, зачем они потом все это устроили?

Я сказала Сереже то же самое. Он считает, что, с одной стороны, на всякий случай, шьют отъезжанту репутацию уголовника. С другой – может быть у них там, в гебухе, свои «либералы» и «консерваторы». Первые за то, чтобы выдворить из страны, вторые – не выпустить, все же носители информации... Вот они и борются меж собою.

В конце – концов, выпустили Сережу и паспорта вернули.

Я рассказала Кари, какую картину застала на Рубинштейна: паспорта были уже сданы на визу, в квартире все ободрано, мебели почти не осталось. – Я сплю здесь, мама там, – сказал Сережа. – А здесь, – он показал на раскладушку посреди комнаты, – спит Надя. Она зубной техник. Она носит продукты. Мама разрешает ей ночевать. Деньги под маминой охраной. Мне выдает на сигареты...

Приходя, каждый раз я обращала внимание на то, что двери квартиры не закрываются, все время приходят и уходят какие то люди. Нора Сергеевна с кошелкой в руках потерянно бродит по своему разоренному гнезду. Как только я появляюсь, делает таинственные знаки и ведет в кухню. Мы будем – в который раз! пересчитывать пухлую пачку денег, их надо будет заплачивать за паспорта и визы. Она достает из кошелки завернутую в газету пачку. Мы сидим в кухне и пересчитываем деньги справа налево и слева направо, и каждый раз получается новая сумма. Деньги немалые, мы такие и в руках никогда не держали, больше двух тысяч. Нора Сергеевна рассказывает, с каким трудом эти деньги собирались, и как важно, чтобы сумма была точной, копеечка в копеечку. И мы опять считаем. Кухня ее наблюдательный пост. Она зорко следит за теми, кто входит в туалет. Я спрашиваю, кто же все эти люди? Нора Сергеевна многих видит впервые. – Обратите внимание, – говорит она. – Ходят в туалет и рук не моют. – Ну почему вы так думаете, Нора Сергеевна? – А вот убедитесь сами.

В ванную направляется какой-то бородач. В него впиваются две пары глаз. Мы ждем. Шумит вода, бородач выходит, поправляя на ходу ширинку и не обращая на нас внимания. – Молодой человек, – громко и очень по – светски говорит ему вдогонку Нора Сергеевна. «Молодой человек» вздрагивает, останавливается, и вопросительно смотрит. – Там белое полотенчко, чистое, специально для рук... Спасибо, – растерянно говорит бородач и скрывается в ванной. С другими повторяется то же самое. У меня начинается тихая истерика, Нора Сергеевна смотрит торжествующе

Я вспоминаю сейчас эти забавные подробности, но тогда, в августе 78-го, совсем было не до шуток.

**Сереза, Алеша и я «конспиративно» едем в Таллинн.
Мы домой, а Сереза прощаться со знакомыми и друзьями.**

Сереза предупредил, что его телефон наверняка прослушивается, просил звонить ему только из автомата, говорить о незначительном, из чего он поймет, что я приду. – Ничего себе конспирация, – думала я, наблюдая поток визитеров на Рубинштейна.

Сына Алешу благополучно провалили на экзаменах в Университет, как многих абитуриентов выпуска 78-го, и мы собрались домой, в Таллинн. Сереза решил поехать вместе с нами попрощаться с друзьями. Договорились, что мы возьмем билет и для него и поедем вместе ночным поездом. Конечно, он рисковал, но сказал, что о поездке будет знать только мать, попросил ждать его с билетом у вагона, он появится буквально за несколько минут до отхода.

Голос в репродукторе уже предлагал всем провожающим покинуть вагоны, когда на перроне показалась развеселая компания. Они шли, перекрывая перрон, плотно взявшись под руки, Сереза высился в центре, верста эдакая, они галдели и пели. Увидев нас с Алешей, он заулыбался, отряхивая со своих рук каких-то девиц. Мы прыгнули в вагон, поезд тронулся, его провожающие махали и выкрикивали какие-то напутствия. Сереза стоял на площадке, поставив у ног громадный портфель. Он был оживлен и весел. Я слишком хорошо знала, что веселье это означает. Так. Пьян. Конспиратор чертов. А ну, если он разгуляется, что мы будем делать? Кутузкой на этот раз он не отделается, это уж точно. Поезд набирал скорость, шел первый час ночи. Мы стояли втроем на плохо освещенной площадке, точнее вчетвером, так как у окна, повернувшись к нам спиной, стоял Некто и курил. Я посмотрела на портфель. – Рукописи, – хвастливо сказал Сереза, пнув его ногой. – Везу Тамаре, на всякий случай.

Я посмотрела на спину – Некто продолжал курить. Не знаю, чего было тогда больше во мне, ужаса, или бешенства. – Так, – сказала я, сухо, всем своим видом показывая, что веселья его не разделяю. – Мы все идем в купе, спать. – Нет, – сказал Сереза.

– Мы не идем спать. Мы будем всю ночь разговаривать и, – он проворно нагнулся, достал из портфеля бутылку водки, – и пить.

Отобрать у него бутылку – такого еще не бывало. Отказаться – он выпьет ее один, и тогда потеря контроля, он неуправляем, переходит грань, за которой кончается любимая им игра в неуправляемость, и тогда ... – Хорошо, – сказала я. – Алеша, у нас есть какая-нибудь еда? – Только яблоки. – Принеси.

Сын пошел в купе за яблоками.

Ну, давайте бутылку...

Из горла? – Сережа ловко откупорил бутылку и с готовностью протянул мне. Я подошла к незнакомцу и легонько ударила его по плечу. – Выпьете с нами, товарищ? Он обернулся. Простое и даже славное лицо, вроде рабочий. – Отчего же не выпить? Выпить можно... Только вы первая. Все ж таки дама, – галантно сказал он. – Тост скажите.

– За знакомство, и вообще... Я отпила глоток, откусила яблоко и передала ему бутылку. Он пил деликатно и бережно, Сережа следил за ним с доброжелательным любопытством, а я говорила, пейте, пейте товарищ, не стесняйтесь. «Товарищ» оторвался от бутылки и протянул, было, Сереже, но я ее перехватила и протянула Алеше. Он вопросительно уставился на меня.

– Что? Пей же!

Сын высокомерно пожал плечами и спокойно отпил. Бутылка пошла по кругу и скоро опустела. Наш собутыльник вежливо попрощался и пошел спать. Вслед за ним ушел Алеша. Говорить ни о чем не хотелось.

– Я иду спать, Сережа, у нас с вами соседние купе, идемте, покажу.

Сережа как-то сразу поскучнел, пробормотал что-то вроде спать, так спать... У него в купе ехали какие-то старушки с ребенком, я представила, как он, громадный, хмельной, со своим портфелем пробирается в темноте и тесноте, лезет на верхнюю полку...

– Дайте-ка мне ваш портфель, Сережа, до утра.

Он вяло сопротивлялся, но отдал портфель, я подождала, пока за ним не закрылась дверь купе и осторожно пробралась в свое. Было темно и все спали. Портфель был тяжелый. Я накрыла его одеялом и поставила в ноги. Легла. Передума-

ла и перетащила в изголовье. Дальше начался бред, может, я и впрямь опьянела. В моей тяжелой башке ворочалась одна мысль, а вдруг наш собутыльник «оттуда» и что тогда? Вдруг «они» Сережу схватят и снимут с поезда? Где можно здесь спрятать портфель? Я села на постели, плохо соображая. Так... Про Алешу ведь «они» могут и не вспомнить. Я с трудом подняла портфель на верхнюю полку. – Алеша... Проснись... Возьми портфель... – Какой еще портфель?! – Тихо... Никакой... Положи в изголовье и накрой чем-нибудь... Спи теперь.

Легла. Не сплю. «Они» нашли портфель, и тогда Алешу тоже... Господи! Вскликаю и опять его трясу. – Алеша... – Ну, что мама? Я сплю уже... – Переложил портфель в ноги, слышишь? И закрой чем-нибудь...

– Что ты носишься с этим портфелем...

– Тихо! и не спорь... Если спросят, чей, скажи, не знаешь, понял?

– Кто спросит?

Но я уже не могу ответить, потому что сползаю на свою полку и проваливаюсь в неодолимый сон.

Просьпаюсь от сильного толчка, поезд остановился. Купе залито солнцем, постели свернуты, в проеме двери стоит Сережа с портфелем, и рассказывает что-то Алеше веселым рочочущим голосом. За окном – перрон Таллиннского вокзала. Унизительные ночные страхи испарились. Сереже – на Рабчинского, это рядом, нам с Алешей на автобус. Мы прощаемся, с тем, чтобы вечером встретится у Тамары.

На фоне Таллинна снимается семейство.

Мы провожаем Сережу навсегда.

На столе какая-то еда, и в достатке водка, разумеется. Ожидается большой прощальный сбор. Пока нас пятеро, кроме Сережи и Тамары Зибуновой, мой брат Володя Нинов, Ося и я. В соседней комнате спит Саша, маленькая дочка Тамары и Сережи. Ждем, не спеша, выпивая и закусывая. Часов в 10 вечера пришел наш общий друг, поэт и переводчик, Светлан Семененко. Ждем остальных. Уже полночь. Пришел еще один

бывший коллега Сережи по Советской Эстонии, какой-то демонстративно пьяный, нес какую-то околесицу, пожал Сереже руку и через пять минут исчез.

– Большое гражданское мужество ты проявил, старик, – крикнул ему вдогонку Ося. Больше не пришел никто. Сережа был подавлен, но старался этого не показать, и шутил невесело. Мы сидели почти до утра, выпили всю водку.

– Оська, фотоаппарат у тебя с собой? – спросил Сережа.

Иосиф достал фотоаппарат, велел Тамаре принести Сашу, сделал несколько снимков.

Когда мы пришли на вокзал, поезд уже стоял. Нашли Сережин вагон. Последние минуты прощания всегда тягостны, и для отъезжающих, и для провожающих. Кажется, мы не отдавали тогда отчета в том, что случилось с Сережиной жизнью, каким роковым образом преломилась его судьба; плохо представляли себе и что творится сейчас в нем самом. Сережа, видимо, ощутил это хмельным своим сознанием. Объявили посадку. По очереди обнялись с ним и отошли, что бы дать возможность Сереже и Тамаре последние минуты побыть наедине. То, что произошло в следующие минуты, не было театральным эффектом, к которому он был склонен, если вокруг собирались зрители больше двух и его превосходство в этом кругу было для него несомненным. Вот Сережа уже вошел в вагон, и тут натянутые его нервы сорвались. Буквально через секунду он выскочил обратно на перрон с криком:

– Да вы что, не понимаете, что это навсегда?! Оська, ты-то хоть понимаешь это слово – навсегда?!

Он хотел чем-то нас пронять, и уже не стеснялся этой, казалось, не свойственной ему патетики. На нас оглядывались.

– Отъезжаем, – крикнула проводница. – Пусть ваш товарищ пройдет в вагон!

Сережу повели в вагон, на его место. Только вышли, он опять выскакивает на перрон с криком – Это же навсегда... – Тамара не выдержала, заплакала, махнула рукой и побежала по перрону прочь... Сережа рванул за ней – ты куда?! Володя, Ося, Светлан и какой-то молодой человек, знакомый Тамары, повисли на нем...

– Да он пьяный, вот позову бригадира сейчас, и вовсе с по-

езда его снимут, – пригрозила хмурая проводница, наблюдавшая эту сцену.

– Нет, нет, не надо бригадира, пожалуйста, – говорила ей я. – Он выпил немного, это, правда, но сейчас он один останется, ляжет на полку и спать будет до самого Ленинграда... горе у него большое...

Она смягчилась:

– Помер у него, что ль кто?

– Да...

Кое-как затолкали Сережу в вагон, и поезд тронулся.

Из всего широкого круга Сережиных таллинских друзей и знакомых кроме Тамары и Иосифа никто не поехал в Ленинград проводить Довлатова окончательно. Они выехали в Питер ранним утренним поездом, и по возвращении Ося рассказал о проводах. В международный Пулково прибыли Сережа, Нора Сергеевна, фокстерьер Глаша и провожающие. Очень скоро отъезжающих провели в стеклянный аквариум, из которого им уже нельзя было выйти. Он только что и успел передать Сереже фотографии. Через стеклянную стенку было видно, как Сережа усадил на лавку Нору Сергеевну, поставил рядом клетку с Глашкой и тотчас пошел к прилавку валютного киоска. Вышел с бутылкой какого-то заморского алкоголя, тут же бутылку откупорил, и, прикладываясь к горлышку, стал важно расхаживать взад и вперед, время от времени поднимая ее, как бы чокаясь, в сторону провожающих, стоявших за стеклянной стенкой. Он как бы показывал всем, сказал Ося, что вот, я, мол, в свободном мире уже, делаю, что хочу и пью за ваше здоровье; Нора Сергеевна показывала пальцем на Сережу, а потом меланхолично крутила им у виска...



Все собрано в дорогу.

Резких утр

Крутая радость. Стылая вода.

Ведро и ковш. Порог. Капусты скрип.

Кастрюль и чашек вымытые души.

Плита и завтрак. Угол неудобный.

*Будильник загодя, неспешность сборов.
Прощание и снова ровный сон.
Мой заполночь досуг твои приметы
Судьбе покорство или может бунт
Судьбы безжалостность и резкость идеала
Здесь горечью на брошенных томах.
Романов нет, все зыбкость мемуаров
И суд историй в разных предисловиях
И старых у плиты Журналов жизнь,
Когда мелькнет страница
На миг удержит от огня, но нет
Ни продолжения, ни суток, ни начала.
Так вот – в дорогу. Чайки подобрать
Пустынный крик над внутренностью рыбы
Воды воды всегда вечерний блеск –
Все это тут. Гуденье тополей
Их ствол и токи в произвольных листьях
Все так. Изгибы, вылеты шоссе
Все – знаки, километры, упрежденья
О скорости, разметка, провода.
Над лесом кладбище с грибами на могилах
Отдельные семейства мертвецов
По верам, по войне, не все – по семьям.
И звон резцов о камни – мудрецы
Здесь пировали много.
Все – с собою.*

Кари Унксова

– Ты не передала Довлатову мои стихи? – как мне показалось, с надеждой спросила Кари.

– В этой безумщине невозможно было...

Мне не хотелось рассказывать ей, как он когда-то, вполне по-хамски, отмахнулся и от нее, и от ее стихов. Как-то был он у нас, – он еще изредка навевывался в Таллинн, после того,

как его изгнали из редакции и города, – и по обыкновению, стоя у книжных полок, что-то перелистывал, или прочитывал. Вытащил какую-то книжечку, прочитал вслух, несколько строк, что-то вроде «глиной замажу глаза и рот от моих ворот поворот» и. т. д. Сказал, – Какой ужас! – посмотрел на обложку, молча задвинул книжечку обратно на полку. Мне это показалось удобным моментом, и только я начала: – Хочу, Сережа, познакомить вас с одной поэтессой, совсем другой уровень, помните, я вам говорила, Кари Унксова... – как он вскричал, театрально и умоляюще: – Не надо! Я ничего не понимаю в стихах, особенно в женских, боюсь их, а еще больше поэтесс! – словом, заткнул меня с ходу. Ничего этого, я, разумеется, Кари не рассказала.

Я провожала ее на ночной поезд. Тускло освещенный мокрый перрон таллиннского вокзала, ледяной ветер, темнота и мерзость. На душе смутно. Мы ни о чем не договариваемся, ничего не планируем. Мы не знаем, как и когда мы встретимся. Нет, кажется, особого повода для тревоги, но я все повторяю:

Будь осторожна, Кари, будь осторожна...

В темноте ее лицо кажется очень белым, глаза очень темными, под ними залегли круги.

Ветер пробирает до костей. Как легко и плохо она одета. Смотрю на ее ноги – жмут сильно? Я имею в виду сапоги, которые заставила ее натянуть, она приехала в насквозь промокших летних туфлях.

– Ты забыла свою папку!

– Я не забыла. Пусть остается у вас. На всякий случай...



Кличут черные вехи истыканы клювом дороги

Провели золотую черту неслиянные сны

Если ты

Начерпала войны и тревоги

Это значит

Горят за тобою мосты

*Любо любо ах любо стоять на погосте
Что за стынь за покой за простор за ответ за беда
Возвращайся скорей, возвращайся-ка милая осень
Золоти поскорей купола возвращайся сюда
Воробьи вылетая из печки таково огонечками машут
Таково-то летают красиво таково загораются влет
Что же нам почерневшим от трудных недатливых пашен
Что же нам не дается такой ослепительный взлет
Самолет воздымается выше и выше и выше
Все нам легче прощаться руками махать веселей
Все нам легче глядеть на пробитые жалкие крыши
Все нам легче снимать сладких уст медовуху и клей
И пока по садам и дорогам полощется осень
Полотенцем мы примем холодный и яблочный Спас
Вон уходит цыганка. Никого мы в дороге не спросим
Никого мы не спросим ни о чем ожидающем нас.*

Кари Унксова

Постдовлатовский сюжет.

Мы с Кари потерялись надолго и только изредка перезваниваемся. Время глухое. Все труднее решать бытовые и прочие проблемы даже в Таллинне, относительно комфортном островке жизни среди тотального безобразия и общего развала. Цензура бдит. Редакционный люд продолжает тихо спиваться от общей и персональной безнадеги. Страна больна. Также как ее одряхлевшие вожди. Вялотекущая шизофрения, пожалуй, самый верный общий диагноз. Мы сами уже не замечаем, как всерьез обсуждаем вполне шизоидные ситуации. Например, где в плоской как спичечная коробка блочной квартире устроить тайник? Где, к примеру, лучше вылавливать передачи зарубежных радиостанций, – у себя в ванной или под мостом у виадука? Могут ли прослушиваться разговоры в комнате, когда трубка лежит на аппарате? Не исключено... Накрывайте аппарат ведром. Каким? Лучше желез-

ным. Но у нас только пластмассовое... Купите цинковое. Да, да, у журналистов телефоны «подключены»... Вы замечали, что номер ваших знакомых набирается не сразу, а сначала какие-то шорохи и щелчки? А когда вы, после разговора, нажимаете на клавишу, номер тоже отключается не сразу? Ни в коем случае не вызывать телефонного мастера со станции, вы что, не знаете, что они все... Между тем поток сам и тамиздата нарастает. Книга передается на одну ночь, на полдня, на три часа. Никому не давать, а если дадите, не говорить от кого... Каждая из этих «тайных» книг имеет «свою меру» – два года, три года, пять лет строгого режима... На этом фоне – Афган, как с самого начала окрестили эту безумную военную кампанию. Но страна словно погрузилась в спячку, точнее в усталый болезненный сон, сквозь который не пробиться ни призывам правозащитников, внутренних и внешних, ни тем более беззвучным воплям ужаса матерей, – и я среди них. Наши мальчики, наши сыновья, как раз подросли по возрасту и здоровью к этой проклятой, нежданно-негаданной войне. Вот почему год назад так нагло заваливали выпускников 78-го на экзаменах в вузы... Сына им не отдам, сказала я себе. Будто мелкий, пакостный бес крутится у людей под ногами, злобно веселясь и глумясь над нами; рвутся многолетние отношения, ломаются дружбы, рассыпаются компании. Все как-то пошло вкривь и вкось, и совершенно не понять, почему.

В эту же самую осень я надеюсь поменять место работы. Мне обещана свободная с ноября должность сотрудника в отделе культуры «Советской Эстонии», и я уже мысленно попрощалась с опостылевшим мне радио. Весной я имела аудиенцию у главного редактора, Генриха Францевича Туронка, после которой, приятельствующий с ним Григорий Михайлович Скульский, поздравил меня и конфиденциально шепнул, что я «произвела на Генриха прекрасное впечатление». Моя кандидатура была единодушно одобрена на редколлегии. Звоню Туронку где-то в октябре, в назначенный мне день, – в трубке ледяной, не желающий узнавать меня голос: – нет, товарищ э..э... Зажицкая, вас кто-то неправильно информировал, вопрос о вашей у нас работе вовсе не актуален... Ошеломленная, кладу трубку, может все это мне приснилось?

После тяжелого и муторного дня, по пути из Дома радио домой, решила зайти к Скульским, поприветствовать милейшего Григория Михайловича, которого почти все лето не видела, встретится, наконец, с его дочерью, Лилькой, близкой нашей приятельницей, которая давно уже вернулась с юга, и рассказать ей, наконец, как провожали Сережу Довлатова, тоже ее приятеля и бывшего коллегу по редакции, и вообще, давно уже надо бы повидаться... Поднимаюсь по лестнице писательского дома, ставлю перед дверью тяжелую сумку с продуктами, – по пути еще зашла в магазин, – звоню. Дверь открывает Раиса Владимировна, которую я, конечно, тоже рада видеть. Не успеваю я раскрыть рот, как слышу ледяное (совсем, как Туронок) – Лиличка спит. Совершенно еще не врубившись в немыслимую эту ситуацию, я поднимаю сумку, чтобы войти, но писательская жена стоит, как скала, на пороге, всем своим видом показывая, что если я штурмом буду брать эту дверь, она ее не сдаст. Разумеется, я не собираюсь этого делать, я немо смотрю на нее, в холодные змеиные глазки, и слышу еще раз: Лиличка спит! В глубине квартиры промелькнул, трусливо кивнув мне, Григорий Михайлович, И только тут до моего сознания доходит, что меня почему-то не хотят впустить, а попросту выставляют вон. Все остальное уже не имеет никакого значения, я чувствую, что опять погружаюсь в абсурд, когда воздух, которым дышишь, вроде бы лишается кислорода, а ты уже и не дышишь вовсе. Зонт, – говорю я тихо. Я когда-то забыла у вас зонт. Мужской, складной. Черный.

Минуточку! – она плотно прикрывает дверь и через секунду в щель просовывается мой зонт, который я беру из невидимой руки. Слишком много для одного дня».

Придравшись к какой-то чепухе, устраивает деланную истерику Иосифу давнейший, чуть ли не с юных лет его, и наш общий с Лилией Скульской и ее мужем друг, и наши добрые семейные отношения с той и другой четой рвутся навсегда, оставляя в душе омерзительное чувство абсурда, – докопаться до истинных причин этого разрыва, которые маячат где-то за «текстом слов», совершенно невозможно.

В «Молодежи Эстонии», редакции, где работает Иосиф,

конфликт между сотрудниками перерастает в свару, свара в ссору, ссора в громкий, на весь Дом печати, скандал. Иосиф оказывается в центре, так как исчез какой-то газетный материал как раз в тот день, когда он вел номер. Как выяснилось позже, кражу с определенной целью совершил один из сотрудников, она была разоблачена, скандал разрастался, дошло до Комиссии из отдела печати ЦК. Редакция разделилась на два лагеря. Коллеги рвали друг другу нервы, в ход шло все, в том числе клевета, сплетни, донос. Как-то в один из этих мрачных дней Иосиф позвонил мне в редакцию и попросил спустится в холл.

– Они с понятными вскрыли мой сейф в фотолаборатории, когда я на съемку ушел, и все оттуда конфисковали. При этом рулон пленки засветили, мерзавцы.

– И Володя позволил?! (Вольдемар Томбу, главный редактор «Молодежки», с которым Иосиф был дружен и, в пору которого им вместе удалось повернуть несколько славных проектов, – пробить ставку художника, создать новый дизайн газеты, открыть Фото-Пресс-Клуб и т.д.)

– У Володи не было выхода. Он позвал меня после всего в кабинет, запер дверь и показал донос, который они состряпали и ему торжественно вручили. Они обвиняют меня в том, что я в сейфе молодежной газеты «храню порнографию», это раз; что провожал в Ленинграде «известного диссидента Довлатова с целью передачи ему фотографий антисоветского содержания», буквально так. Это два. Что-то еще, я не запомнил.

– Кто «они»?

Ося называет несколько хорошо знакомых мне фамилий. Спрашиваю:

– Они что, полные идиоты? Разве можно эти снимки назвать антисоветскими? Сережа с Тamarой, Сережа с дочкой, мы?

– Да они их и не видели. То, что я спечатал, отвез Сергею, а негативы дома. Но печатал-то я снимки в лаборатории... Там вечно кто-то крутится, кто-то, наверное, спросил, я и сказал... Я вообще не придал этому значения, а кто-то стукнул.

– А порнография? Ты что, фото этих ваших «моделей», этих голых девок, в редакционном сейфе держишь?

– «Голых», «девок», в «сейфе»... что ты плетешь? Ты прямо как они... Несколько старых номеров «Плейбоя», да и те не мои. Такие валяются во всех эстонских редакциях, на всех этажах дома печати. Это были журналы покойного Геры. После похорон устроили поминки в редакции, помнишь? Я не пил, вел в этот вечер номер. Томбу да я, кажется, одни на весь этаж трезвые были. Володя позвал меня тихо в кабинет Геры и сказал, что с кем-то разбирает герин стол и сейф. Там были эти несчастные журналы. Володя просил их забрать и спрятать куда подальше, чтобы жене Геры на глаза не попались. Ну, я забрал их и в фотолаборатории в сейф засунул...

– Абсурд какой-то... Что же теперь?

Володя сказал, что «сигнал», так называется эта гнусная бумага, должен быть передан в отдел печати ЦК, хоть я и беспартийный... Осквернил, так сказать, их чистые ряды...

Меня вызывает к себе новый Главный. Мы еще мало знаем друг друга. Испытующе и не без любопытства смотрит, предлагает сесть и сообщает, что в редакцию по его телефону регулярно звонит какой-то аноним, сообщает обо мне какую-то несусветную чепуху, а при попытке вступить с ним в диалог, бросает трубку. Не знаю ли я, кто это мог бы быть? Я пожимаю плечами, – понятия не имею. – А что он говорит? – Так... мерзости всякие, – неопределенно отвечает Главный. Предлагает мне опознать голос по телефону, это значит, во время звонка кто-нибудь даст мне знак, и я сломя голову, через два кабинета, должна мчать к нему и через параллельную трубку слушать, авось и узнаю. Я пытаюсь делать это дважды, но в трубке уже гудки. Дома Алеше и маме запрещено в наше отсутствие подходить к телефону. Мы живем в ситуации психотеррора. Я говорю Главному, что меня от всего этого тошнит. Меня вызывают еще раз, я бегу, и застаю побагровевшего Главного редактора, который гремит в трубку – Ты скотина, мерзавец и трус! – и швыряет ее на рычаг. Я смотрю на него благодарно. – Забудьте обо всем этом, Т.А., и спокойно работайте, – сухо говорит Главный. Анонимные звонки в редакцию прекращаются.

Звонит Тамара Зибунова, говорит, что надо встретится. Встречаемся. Рассказывает, что регулярно вызывает ее для

бесед следователь КГБ, все допытывается, действительно ли выплатил ей Сережа деньги, огромные по тем временам деньги на содержание ребенка до его 18-тилетия, чтобы без помех уехать. Я знаю, что, конечно же, не выплатил, мне сказал об этом сам Сережа, откуда они у него, деньги? Он же и сказал мне, что такая же нищая как он Тамара дала ему без колебаний «вольную», представив в ОВИР фальшивую бумагу, подтверждающую выплату. Это, как он сказал, был «поступок», для этого надо было быть Тамарой... Но дело не в этом, а в том, что следователь, в последнюю их встречу, просил передать привет «Тане и Осе», и что бы это означало?

– Так и сказал, «Тане и Осе»? – пораженно спрашиваю я.

– Так и сказал.

– Я не знаю, что это означает. У нас с Иосифом нет ни одного знакомого следователя... Как его фамилия, хотя бы? – Тамара сказала.

– Не слышала... А как он выглядит?

– Такой неприметный, светленький... невысокий, русский. Приветливый, – иронически говорит Тамара.

Прихожу домой, хочу только одного: лечь лицом к стенке, никого не видеть, ничего не слышать, никуда не выходить и ни с кем не разговаривать. Ося взбешен. Он мечется по комнате. – Ты же понимаешь, что это провокация, это их методы, пустить слух, оклеветать, рассорить, – говорит он. – Что бы не собирались больше двух... Вообще, не бери этого в голову. Забудь.

– Я не в состоянии это анализировать, понимаешь? Я просто уже не могу в этом жить...

Но и забыть не могу. Я возвращаюсь к этому разговору с Тамарой снова и снова, что-то пытаюсь связать в своем сознании, что-то в моей голове шевелится и ускользает. Я уже боюсь воспаления мозга, как вдруг – вспышка в памяти, некая картина, эпизод, и, главное, весь целиком, сразу.

– Теперь слушай, – торжествуя говорю Иосифу, – ты помнишь, мы гуляли на свадьбе, Катя Ерисанова., моя коллега, дочь Ирину замуж выдавала?

– Ну, помню.

– Было много гостей, и среди них знакомая нам Инна из «Советской Эстонии» со своим мужем-югославом? Ну, быв-

ший партизан, югославский коммунист, сейчас какой-то крупный чин в каком-то министерстве, мы еще познакомились в доме Скульских, на юбилее Григория Михайловича, помнишь?

– Ну, помню, а на свадьбе Ирины мы сидели с ними рядом, дальше...

– Да. А напротив – неприметная личность такая, русачок, со спесивой женой, которая сказала, что работает в министерстве образования. Катя представила их как своих многолетних соседей, – Олег и Вера.

– Это тот хрен, что все на рыбалку приглашал, а потом играл на баяне и про клен пел?

– Да. А когда все изрядно выпили, то прямо за столом между ним, Олегом этим, и югославом ссора какая-то возникла. Тогда этот русачок вытащил какую-то книжечку и стал перед носом югослава махать, а тот вытащил свою, ткнул ему в лицо и с презрением таким сказал – Да я с твоим начальником водку пью! Я еще тебя спросила, что это за книжечки, которыми они машут? А ты сказал – ты что, не поняла, что это за книжечки? Только у одного ранг много выше и ведомство другое.

– Думаешь, рыбак?

– Уверена.

Мне стало легче. А после разговора с Катей и совсем легко. Катя тихо засмеялась, когда я поделилась с ней своей прозорливостью, и подтвердила:

– Да многим в Таллинне известно, что Олег там уже лет двадцать работает.

– А жена?

– И Вера там же, но по совместительству...

– Убью, подстерегу гаденьша, рожу ему так размажу, что работенки своей враз лишится... Ишь ты, «Тане с Осей привет»... сволочь поганая...

– Да успокойся ты. Сам же говорил, что они мелкие бесы...

Вольдемара Томбу вместе с Иосифом вызывают «на ковер» в отдел печати ЦК, ответ держать. Володя нервничает и дает Иосифу всяческие инструкции, – как себя вести, и что говорить. Иосиф послушно кивает:

– Понял. Все понял.

Дальше было так.

– Зав. Отделом печати, здоровый такой мужик, товарищ Пальма зовут, – рассказывал после Ося. – Володя с Пальмой по-эстонски долго трындели, я себе скромно сижу, молчу. Вдруг этот Пальма по-русски ко мне спокойно так обращается: – А на этих фотографиях, что вы Довлатову передали, что все-таки было?

– Да ничего там такого особенного, товарищ Пальма, не было, говорю. Довлатов с подругой своей таллиннской, с их дочкой, родилась она недавно. Обыкновенные фотографии, любительские, качество неважное, свет был плохой...

– А где вы снимали?

– Да дома у нее снимал. Ну и передал потом. На память. Это просто долг мой был. Он ведь навсегда уезжал, Сережа, навечно. А если там и было что-то антисоветское, говорю, так это нищая комната Тамарина, с печным отоплением. Так это ведь не декорация, она там годами живет... Тут Томбу ногой мне как поддаст под столом, я аж вздрогнул. А Пальма дальше спрашивает, тихо и с любопытством таким:

– А какой он человек, Довлатов, расскажите, я его никогда не видел?

– Я и говорю, он такой же здоровый, как вы, товарищ Пальма, только вы блондин, а он брюнет... На Томбу стараюсь при этом не смотреть, чувствую, что он почти в обмороке. – Хороший и талантливый, говорю, человек Довлатов, и никакой ни диссидент, писатель он, и уезжать никуда не хотел, печататься здесь хотел. Эмиграция, говорю, его трагедия. Жалко, говорю, его очень. Тут Пальма этот встает, на часы смотрит и говорит, что его сейчас на совещание ждут. Мы с Томбу тут же отваливаем, а Володя аж посинел. Идет, молчит. Я ему говорю, Володя, да что ты, в самом деле, он по-человечески спросил, я по-человечески ему объяснил... Да он нормальный мужик, этот Пальма. Тут Володя закричал, я даже испугался:

– Ты идиот!!! Партийному функционеру ты объяснял, какой хороший и талантливый отъезжант Довлатов, которого из Таллинна за антисоветчину они же и выперли...

По доносу коллег никаких санкций, именно по этому делу,

ни для Томбу, ни для Иосифа не последовало. Но свара в редакции не затихала, и Комиссия, чтобы прекратить этот надоевший всем скандал, просто уволила одного за другим человек шесть, а Вольдемара Томбу отправили в Москву на партийную учебу.

– Вот такой постдовлатовский сюжет, – сказал Ося, когда все это закончилось.

– Смотри, в какую логическую цепочку все выстроилось – Туронок отказал тебе в должности, друзья отказали от дома, этими фотографиями меня в редакции хотели добить, и все одно за другим. Мы и не поняли тогда, что вроде меченые уже с тобой. Господи, но это же так элементарно, проводить человека, с которым общался, приятельствовал, пил, наконец, или, по крайней мере, хоть спросить, как уезжал, что с ним произошло... А ведь никто не спросил... Как они испугались, просто обосрались от страха. Как же, у кого-то новый сборник на выходе, а может и собрание сочинений. А тут – такие компрометирующие связи... А обещанное тебе место в «Советской Эстонии» не заждалось, подружка на него заступила... Красиво... Железная девочка, по трупам в жизни пойдет.

А нам жить стало легче, потому что понятнее. Совсем непонятым оставалось одно – где теперь Иосиф найдет работу.

Подходил к концу 80-й. Сыграли свадьбу сына, после которой юные супруги отбыли на зимнюю сессию в Ленинград. В этом же декабре в нашу семью пришла беда – тяжело заболела мама. Безработица Оси и полное истощение нашего семейного бюджета. Изгнанные из «Молодежки» журналисты разбрелись, кто куда. Иосифа «подобрала» сердобольная Галина Томбу, жена Володи, которая получила высокую должность – главного редактора нового странного журнала под названием «Русский язык в эстонской школе». Иосифа она определила туда ответственным секретарем. А вскоре после этого Галя «подобрала» и меня, в ситуации, казалось мне, безвыходной. Из-за болезни мамы мне пришлось расстаться со своей, хоть и опостылевшей, но все-таки родной редакцией радио, – она требовала моего полудневного присутствия, – а так же с привычным заработком.

– Так, – веско сказала Галина, как всегда очаровательно

щурясь, посетив нас в один из дней и оценив всю нашу ситуацию, – будешь у меня надомницей. Мой контингент – сплошь бывшие учительницы и методички, свое дело они знают. А журналистом при редакции будешь ты. Такой ставки у нас нет, положу тебе зарплату сотрудника. Гонорара, само собой, тоже не предусмотрено. Но ведь две маленьких зарплаты лучше, чем одна? – резонно рассудила она. И продолжила:

– Писать будешь дома, четыре материала в месяц, а лучше шесть. Сама приносить и хотя бы изредка появляться. Заявление можешь написать прямо сейчас, я его заберу. Хорошо, что у вас с Иосифом фамилии разные. Это все. Пиши заявление, я диктую.

Я писала заявление на работу под ее диктовку и слезы благодарности душили меня.

– Есть вопросы? – спросила она, забирая бумагу.

– Да, Галя, один только. О чем я должна буду... писать?

– О чем хочешь. Наша цель, то есть то, за что нам деньги платят, это повсеместно, на эстонских островах и материке, внушать в эстонских школах уважение и любовь к великому и могучему... Я ведь сказала, что мои кадры могут только методички писать. Для них журналист, что... небожитель. Редакцию сделаем русско-эстонским клубом для учителей. Будем устраивать посиделки в русском стиле, с калачами и самоваром... Еще вопросы?

– Нет...

– У меня вопрос, – встрял Ося. – Ты не боишься, Галя, что они нашими калачами подавятся?

Новое десятилетие подкралось совсем незаметно. Думать о будущем не хотелось.

*«Никого мы не спросим
никого мы не спросим
ни о чем ожидающем нас...»*

На фоне всех этих злосчастных событий мы надолго потеряли Кари из виду.

■
Килиманджаро
Опутанная сочными лианами
Царственные айсберги
Хорканье оленьей упряжки
Волчий далекий вой
Длинные тени пустынь
Забинтованная Мекка
Пронзительный плач синагоги
Зеницы святых
Отрешенных здешнего мира
Пульсирующие переплеты
Спрессованных книжных знаний
Так я и не
Никогда больше
Только
Только мой собственный город
Моя слава Богу комната
Моя темница
Два двадцать моей домовины
Сто шестьдесят
И шестьдесят на поминовение
На венчики из бумаги
Что мне послужила исправно
Морем и парусом
В открытые годы любви
И не врач ли проводит меня
Гуманно отрешив
От тысячи вредных привычек
В чистом жилище
Дождаться последние дни.

Кари Унксова



...Холодный май 82-го года. Телефонный звонок. Беру трубку. В ней:

– Привет!

– Привет...

– Не узнаешь?

– Что-то... Кто это?

Пауза.

– Ну, хорошо. Тогда прощай.

Опять пауза.

– Кари!!! – неистово заорала я. Это дважды повторенное ею с летучей картавинкой «р», боже мой, как могла я забыть?!

– Ты где?!

– Здесь. Недалеко.

– Приходи немедленно!

– Хорошо.

Минут через двадцать звонок, но уже в дверь, я открываю – на пороге Кари, держит за руку худенького мальчика.

– Это Алеша, – говорит она. – Мы прямо с вокзала. Нам надо остановиться дней на пять... если у тебя нельзя, то я...

– Конечно можно. Ося ляжет в Алешиной комнате, ты с малышом в спальне, я все равно сплю здесь, в проходной, поближе к маме.

Кари снимает непроницаемые, не по погоде, солнечные очки. – Ты прямо как агент 007, – говорю я. Волосы ее затянуты в тугий узел, и вообще на себя она не похожа.

– Я должна буду сделать один-два визита, но вообще никто не должен знать, что я в Таллинне, Танюша. Я смогу на эти часы оставить тебе Алешу?

Я киваю. Конечно. Они отогрелись, поели, Кари угомонила подвижного, словно ртуть, сынишку и они прилегли в спальне.

Поздним вечером, когда уже мама и малыш спят, мы сидим втроем в нашей крошечной кухне и слушаем рассказ Кари о событиях ее жизни последних лет.

...Что-то около года прошло со времени квартирной кражи, как вдруг в один из зимних дней из милиции пришла повестка на имя Кари с предложением придти с паспортом в озна-

ченный день и час «по поводу заявления об ограблении квартиры». Ее принял некто в чине капитана, так ей показалось, и повел неторопливую беседу, никакого отношения к ограблению не имевшую. Почему она годами не работает? Какая зарплата у мужа? Как может семья жить на такую зарплату? Ведь она «такая молодая, интересная женщина, ей ведь одеться хочется?» Он задавал вопросы, говорит Кари, доброжелательно, спокойно, даже сочувственно, и она отвечала в том же тоне. Они живут очень скромно, никаких претензий к мужу у нее нет, она тоже женщина очень скромная, может несколько лет обходиться одним свитером и брюками. Все попытки Кари перевести разговор на кражу ни к чему не приводили, этот тип упорно переводил разговор на материальное положение семьи и допытывался, почему она не работает.

– Вы ведь знаете, Карина Васильевна, закон в нашей стране есть, и за тунеядство вас могут привлечь...

– У меня двое детей, я занимаюсь их воспитанием, ко мне этот закон не имеет отношения, – спокойно отвечала ему Кари.

Наконец, этот тягостный и непонятный разговор закончился. Когда Кари вышла из отделения милиции, во дворе было уже темно и очень скользко. Она осторожно шла по дорожке к воротам, как вдруг из темноты вывернулся какой-то детина, дал ей подножку, она упала, он навалился на нее, и между ними завязалась борьба, которая продолжалась, впрочем, совсем недолго, потому что двое других молодых подхватили ее под руки и поволокли обратно в отделение, в комнату, из которой она только что вышла. Там сидел ее недавний собеседник, который, не дав ей раскрыть рта, сухо сообщил, что она, гражданка Унксова, привлекается к суду «за избиение дружинников, оскорблении их нецензурными словами в общественном месте при исполнении ими служебных обязанностей». Есть свидетели. «Дело» слушалось в районном суде. Судья заслушал показания дюжих «потерпевших», потом задавал вопросы Кари. Она спокойно заявила, что достаточно взглянуть на нее и на них, чтобы убедиться, что «избиение» было провокацией и инсценировкой. Что касается нецензурных слов, то она, Кари, никогда их не употребляет,

так как «они оскорбляют достоинство женщины и матери». Судья был явно взбешен этой комедией и заявил, что отказывается вести это «дело». Оно было передано в суд другого района, и там служитель Фемиды бестрепетной рукой подписал приговор о виновности Кари и наказании ее заключением и пятнадцатью сутками принудительных работ.

– И ты...

– Да. Нас было там женщин десять в камере, привлечены они были, в основном, за проституцию, драку, мелкое хулиганство. Выдали телогрейки, каждый день возили на машине что-нибудь убирать или мести. Между собой мои товарки ссорились, сводили какие-то свои счета. Меня не трогали. У меня есть способ себя отключать. Я мела и убирала, как автомат, утром подъем, из камеры, вечером – в камеру, отбой. Через пятнадцать суток меня выпустили.

Я пыталась представить ее в этой обстановке, и воображение отказывало мне. Мы молчали, потом Ося спросил:

– Как ты думаешь, Кари, зачем они все это с тобой сотворили? С Довлатовым понятно, репутацию уголовника шили перед отъездом, на всякий случай... Но тебя-то за что? Не за стихи же?

– Помнишь, Ося, я про кражу сумки рассказывала? Потом ее подбросили, рукописи все измяты, изорваны. После этого они в квартире в наше отсутствие еще не раз шарили, и вовсе не стихи мои нужны им были, они совсем другое искали.

Кари внимательно смотрела на нас, словно хотела что-то еще сказать, но раздумывала.

– Больше года назад я случайно познакомилась в Москве, в знакомом доме, с одной деятельницей из движения феминисток России. Она предложила мне сотрудничество в журнале, издается за рубежом, «Женщины в России». Я написала для них статью «Об абортах в России», потом еще, все было напечатано.

– Твоя фамилия?..

– Под псевдонимом.

– Боже мой, откуда они взялись, феминистки эти, кто они такие?

...Я не в состоянии воспроизвести непривычно страстный и

путаный монолог Кари об этом неведомом нам женском движении, которым она увлеклась, или в которое была кем-то вовлечена. Помню, что Иосиф, который молча слушал ее, вдруг закричал в отчаянии:

– Кари, зачем тебе все это?! Ты – поэт, твое дело стихи писать, ну куда, зачем ты во все это ввязалась?!

– Мои стихи никому не нужны, Иосиф... ты не можешь или не хочешь понять меня...

– И не могу, и не хочу, ты – поэт, у тебя есть дело твоей жизни, при чем здесь «нужны», «не нужны», что такое ты говоришь, Кари, что ты говоришь...

Ося еще что-то такое говорил, Кари молча и печально смотрела на него.

– Потом, – продолжила она, – меня вызывают в ОВИР и какой-то чиновник говорит, что я могу беспрепятственно и очень быстро получить разрешение на выезд в Израиль к родственникам. Я отвечаю, что в Израиле у меня родственников нет, вообще в роду нет евреев.

– Это не препятствие, вызов мы вам сделаем.

Тогда я говорю ему, что у меня семья, двое детей и муж, и без них я никуда не поеду. Он начал торговаться, но я стояла на своем, и в конце концов он раздраженно сказал, что мы можем подавать заявление всей семьей, но могут возникнуть проблемы и выезд может затянуться.

– Мы не спешим, – ответила я, и на этом аудиенция закончилась.

– Вы подали заявление?

– Да. Его приняли, сказали ждать придется около года.

– Кари, почему никто не должен знать, что ты в Таллинне?

– Видишь ли... Начались после этого другие события. Может быть, все это началось много раньше, но я об этом не знала...

– О чем?

– О том, что в Ленинграде уже шел закрытый процесс по делу феминисток. Лидерши успели спастись, то есть успели выехать за рубеж. Те, кого взяли, были фигуры второстепенные, но процессу был дан ход, и они начали брать уже просто по подозрению. Что там проделывали с этими бедными жен-

щинами, представить себе невозможно. Из них просто вышибали имена знакомых, не имеющих никакого отношения к движению... Этот процесс абсолютно дутый. К ним таким образом попала очень молоденькая женщина, дома остался ее младенец. Она кое-что знала, но очень немного, какие-то имена, и только. От нее требовали назвать фамилии всех ее знакомых женщин, она плакала и не хотела. Тогда... Тогда ей перестали привозить ее грудничка на кормление. Ей все время слышался его голодный плач... она не выдержала, назвала какое-то имя, его принесли покормить. Так прошло несколько суток. Она сошла с ума. Среди имен, названных ею, было и мое. Связная, назову ее так, дала мне знать об этом и дала понять, что мне лучше убраться из города, пока все не утихнет и не будет получено разрешение на выезд. Вот мы и кочуем с Алексеем по городам и квартирам. На все запросы обо мне Толя отвечает, что понятия не имеет где я и что со мной. Побудем у вас, а потом...

– В Москву?

– В Грузию... Через Москву в Тбилиси. Там тоже найдется, где преклонить голову.

– Деньги?

– Нет, нет, до Москвы мы доедем. Билеты уже есть, а там я получу.

– Кари, ты, конечно, не привезла ничего... Ты не писала все это время?

– Есть новое, но не со мной. Знаешь что, я напишу Толе записку, когда ты или Иосиф будете в Ленинграде...

Кари быстро набросала короткую записку, – «Толинька, дай Тане стихи, которые на Маркса. Ничего конкретного сообщить не могу, пока все в порядке, малыш здоров. Крепко целую. К.» (Вот уже двадцать лет эта записка лежит в «кариной» папке. Толя вернул ее мне вместе с новыми стихами «Россия в Лете»).

...Наступил день отъезда. До московского поезда еще несколько часов, но Кари уже собирается.

– Мы уедем на вокзал из другого дома, нас с Алешей проведут, не беспокойся о нас... Пойду попрощаюсь с Региной Михайловной, Осе кланяйся, будет возможность, дам о себе

знать. Кари идет в комнату мамы. Я заглядываю туда. Кари присела на край постели, держит маму за руку, улыбается, что-то тихо говорит ей. На подушке родное измученное мамино лицо в копне седых волос; она не может говорить, но движением век показывает, что понимает и слышит. Неугомонный Алеша рвется в комнату, торопит, скорее, скорее! Я сжимаю его крошечную худенькую ручку. Вижу себя в зеркале, чужое, серое стертое лицо. Что же это со всеми нами случилось?! Кари выходит.

– До автобуса-то я могу проводить вас, великие конспираторы?

До остановки три минуты, мы подходим, и автобус подходит. Кари прижимается к моему лицу холодной щекой, я торопливо целую ее и малыша. Двери захлопнулись, и еще несколько секунд я вижу за стеклом белое пятно ее лица в непроницаемых черных очках. И в этот момент настоящий холодный ужас охватывает меня.

■

Извлечение ночи на лучшую жизнь не доходит до слуха

Юный слепо кивает печальный покой обрета

По Тишинскому рынку случайно проходит старуха

И прореха торчит из разлома седого плеча

Расширяется улица здесь вопреки перспективе

Угол глаза заполнен потопом. Дождит.

Разве это смирение?

Веки и присно и

ныне

Белоглазая чудь за движением

нежным следит.

И на каменной плоти

Возникнули острые сколы

Примеряются

шеи лилейные

мягкая плоть

Расторгается жизнь,

*и по лужам плывут договоры
И базарные толпы
Сминает упорная тать.
Кто сегодня? Спасенье?
Царит воскресенье и солнце
Мы на рынок идем мы идем по бульварам гулять
Мы окно протираем и лужи веселое донце
Каблуками дробим
Мы в пятнашки
Хотим поиграть
Мы хотим обижаться мы хотим помириться, надуться
И швырнуть свои куклы подружке коварной в лицо
И поплакать в углу,
А потом помириться,
вернуться
И гудит сотрясаясь
садовых
глухое
кольцо.*

Кари Унксова из цикла «Россия в Лете» 1982



...1983-й год. В начале мая похоронили маму. Ее длительная болезнь словно держала нашу семью, а после смерти все стало разваливаться. В доме беспорядок и разор. Только чисто прибрана мамина комната. Жизнь из нее ушла, и видеть открытой дверь невыносимо. Но как только я плотно закрываю ее, выходит из своего угла Макс и ударом лапы открывает ее снова. Пес постоит на пороге, потом опять уйдет на свой коврик, положит на лапы большую голову и будет о чем-то упорно думать. Я опять закрываю дверь, и так много раз на день. Я ничего не могу ему объяснить. Максу четырнадцатый год, он престал озорничать, вымогать лакомство и ласку. Не выражает восторга и нетерпения при слове «гулять», не вылетает из парадного, как бывало прежде, чтобы загнать первым де-

лом, на березу кошачий парламент, что заседает у мусорных баков. Кошки теперь не боятся его. Они сидят неподвижно и щурятся на него с презрительным и наглым видом. Макс стыдно, он посматривает на меня золотистым глазом, а я ему говорю, – Да ну их, Максик, они вообще нам не нужны, мы вообще в лес идем... Пес идет, опустив голову, он унижен. А кошки уже чувствуют то, о чем догадываемся и мы, только не подаем вида и не говорим о том, что он уже не только стар, но и смертельно болен, и это его последняя болезнь.

Я опять работаю на радио, в своей прежней редакции, собирая себя из кусков по утрам, в предчувствии бесплодного и постылого рабочего дня. У нас опять новый Главный, из «местных» русских, то есть прекрасно владеющий эстонским, но никоим образом к журналистике не причастный. В его кабинете всегда кипит чайник, на блюдечке колотый сахар и сушки – баранки. – Чаечку не желаете? – первым делом спрашивает он, когда приходишь сдавать передачу. Он упоен своей должностью и томим неясными идеями относительно «новых форм» наших передач, которые слушает теперь его семья, чье мнение для него «глас народа». Невинный радиожурнал с приторным названием « В мире творчества», мое многолетнее детище и главный кормилец, он вовсе не жалуется. Замечаний и поправок не делает по причине полной ему чуждости оногo, но развивает общую концепцию замены этой программы. – Ну, слушают ваше «творчество» процентов пять интеллигенции, а весь остальной народ? Он не охвачен. Подумайте, подумайте... пойдите по предприятиям, поговорите с народом, выясните мнения, конференцию устройте, запишите, вот вам и передача... Конечно, спектакли там, или романы выходят, кто-то смотрит, читает, но народ...

Я тупо слушаю его разглагольствования, не возражая, и каждый раз меня посещает одна и та же неконструктивная мысль – Господи, зачем я всем этим занимаюсь, на что уходит жизнь ничего больше не умею, зачем пошла на этот дурацкий престижный факультет: конкурс десять на место. Рядом зоологический был, заглянула – недобор – приглашали; а я зверье разное с детства люблю. Зоопсихологом мечтала стать, какая прекрасная чистая работа ...

...Начинается летний «заезд» в любимый нашими друзьями, знакомыми и знакомыми знакомых Таллинн. В квартире одни постояльцы сменяют других, но смена лиц, также как и работа на радио, воспринимаются лишь краем сознания. Остальное сознание погружено в тягостный круговорот одних и тех же навязчивых мыслей, на языке медиков это кажется, называется «депрессия».

...Этот междугородний звонок раздался где-то в середине июля. В трубке торопливый женский голос: – Говорит Лена Михайлова, подруга Кари, третьего июля Кари погибла, ее сбила машина, ее уже похоронили, через десять дней семья должна была выехать. Толя и дети в Ленинграде, у них все отключено, до свидания...

– ?!

– Что?! – крикнул Ося.

...третьего июля Кари погибла, ее сбила машина, ее уже похоронили, через десять дней семья должна была выехать. Толя и дети в Ленинграде... – машинально, деревянными губами, я повторяю это в трубку, не веря своим ушам, может быть, это злой розыгрыш, может быть, мне померещилось, но в трубке лишь гудки.

Толя рассказывает, как все это было.

...Я бреду вдоль набережной Невы, мимо гостиницы Ленинградская, к знакомому дому на проспекте Маркса. Я не знаю еще, где и как настигла Кари дьявольская машина. По дороге захожу в гастроном, зачем-то покупаю бутылку вина и торт, как будто бы я сейчас позвоню, как будто бы мне откроет улыбающаяся Кари, мы откроем вино, будем пить чай... Зачем я купила этот идиотский торт? Просто мне очень страшно. Я не знаю, что за дверью. Я совершенно не представляю, как я их увижу. Как буду говорить с ними.

...Полуподвальная квартира на Маркса разорена и кажется необитаемой, почти нет мебели, свалены в кучу, чемоданы и узлы, словно сюда вселились беженцы, или, напротив, вот – вот ее покинут. Маленький Алеша у бабушки; на полу, на

матрацах, спят Лада и какие-то молодые люди. Толя измучен, изнурен и худ до того, что кажется бесплотным. Он внешне спокоен, но пальцы дрожат, и курит сигарету за сигаретой. О непостижимой катастрофе он рассказывает негромким ровным голосом, и оттого ужас и абсурд происшедшего кажется еще ужаснее.

...В начале мая их вызвали в ОВИР и сообщили, что разрешение на выезд семьи получено, «собирайте документы». Между тем, после смерти Брежнева, уже при Андропове, эмиграция закрылась, не выпускали никого. – Я не верю, что они дадут нам спокойно уехать, – сказала тогда Кари... Все было подозрительно, тем не менее стали собираться. Во дворе все время торчала милицейская машина, они не исключали опять какой-нибудь провокации, поэтому Кари не выходила в эти предотъездные дни одна, кто-нибудь из друзей или домашних ее сопровождал. В этот день Толя находился с Алешей на Васильевском, ночевал на квартире матери. На Маркса оставались Кари, Лада, Андрей Изюмский и Алеша Соболев, их молодые друзья. Пришла сестра Марина, к вечеру засобиралась домой, и Кари пошла проводить ее, сказав, что вернется через десять минут. Сестры пошли без сопровождения, к трамваю, обычным, хоженным с детства путем. Но Кари не вернулась и через полчаса, и через час, и через два... Где-то в полночь Андрей, уже в панике, стал обзванивать отделения милиции и скорой помощи. Информации никакой. Под утро позвонили из районного отделения скорой, сообщив, что две женщины попали на набережной Невы под машину, одна очнулась, жива, а другая умерла не приходя в сознание. Андрей позвонил Толе.

...Тело Кари было изувечено, ноги переломаны, лицо – сплошной кровоподтек. Толя спросил, когда ее доставили в морг. Дежурный врач, или служитель, молча открыл журнал и показал запись, – спустя четыре часа после наезда! – в больницу, которая находилась в десяти минутах от места происшествия.

...Толя спросил, где же ее возили четыре часа? Служитель молча пожал плечами. Далее последовали другие «непонятности». Толя пошел в милицию и потребовал протокол. Там

было написано, что около восьми вечера две женщины переходили набережную Невы с двусторонним движением. Для наглядности, Толя берет карандаш лист бумаги и чертит. Этот чертеж передо мной. Совсем близко от дома, там, где проспект Маркса выходит к проезжей дороге, идущей вдоль узкой набережной Невы. Светофор. Четыре метра одна полоса, четыре другая, между ними также светофор. Они миновали первую полосу, остановились у светофора в центре. По протоколу, по полосе, которую они миновали, шел грузовик, за ним Запорожец. По протоколу, Марина получила удар слева и была отброшена на обочину, Кари получила удар в лицо. Получалось, что они пропустили грузовик и шагнули назад, под колеса Запорожца? Эксперт, которому Толя показал копию, сказал, что для удара такой силы нужно было развить скорость по меньшей мере в 80 км, причем тут Запорожец? Да еще у светофора? И вообще детали не сходятся. (Позже этот протокол исчез и был заменен другим). Патологоанатом, у которого он попросил объяснить происхождение ужасающих травм, отказался на эту тему разговаривать.

...Марина находилась в другой больнице, в состоянии шока. Когда пришла немного в себя, сказала Толе, что машин будто бы было две, когда шли по проспекту мимо гостиницы, и уже выходили к дороге, она обратила внимание, машинально, на газик, что стоял у края гостиничной парковки. Это все. Больше она ничего не помнит, до того момента, пока не очнулась в подъезде больницы и не начала кричать – Где моя сестра?! Тогда кто-то наклонился над ней и сказал, – Да что вы, с вами была американка. Но Марина продолжала кричать, и тогда подошел кто-то другой и сказал, – Да, сестра...

...Марину в больнице посетил какое-то официальное лицо, назвавшись следователем, а вместе с ним – какой-то старичок, божий одуванчик, который лепетал что-то про «клюквочку, которую вез на базар на своем Запорожце, а девочки перебежали дорогу, и вот...», при этом утирал слезу и просил прощения. Следователь говорил о чем-то с Мариной наедине, после чего каким-то образом был в срочном порядке подписан протокол, что Марина отказывается от судебного процесса, и он не состоится по обоюдному согласию сторон за отсут-

ствием состава преступления. После этой процедуры Марина замкнулась, ни с кем не разговаривала и не отвечала на вопросы. Лечение ей назначили длительное. Дело было закрыто. Кари похоронили торопливо, при небольшом количестве провожающих, кроме близких были какие-то и незнакомые лица. Место ей власти отвели на очень дальнем, огромном и запущенном Северном кладбище в Парголово, на могиле нет никаких отметок. Начались дожди, и он боится не найти это место, так как все время находится в совершенно «провальном» состоянии.

...Они уже не находились под защитой этой страны, и никакой другой, не могли предъявлять каких-либо требований и не имели никаких прав. Но надо было брать себя в руки и устраивать дальнейшую судьбу семьи. Через неделю пошел в ОВИР узнать, остается ли в силе разрешение на выезд? Успокоили, сказали, что дают еще два месяца на сборы, только справки надо оформить все заново. Начал собирать справки. И тут начался такой ад кромешный, что он без содрогания не может вспоминать издевательства и препоны, которые ему чинили на каждом шагу, – стало ясно, что ГБ упредило все его хождения по советским конторам. Он все-таки собрал эти треклятые справки, сдал в ОВИР и был назначен день выдачи визы в 12 часов. А в 10.30 оттуда позвонили и сообщили, что нет необходимости приходить, «выезд отменен, так как считается нецелесообразным». Толя написал письмо начальнику КГБ в Москву обо всех подлостях, которые они учинили над его семьей, заявив, что отмена выезда подтверждает факт именно намеренного убийства его жены, а не несчастного случая. Пришел короткий ответ, но не из КГБ, а из того же ОВИРА, вежливый, но со скрытой угрозой, от высокого чина, который «советовал»: «...рекомендую Вам, Анатолий Леонидович, устраивать свою жизнь здесь».

Теперь семье предстоит собирать новые справки, добиваться возвращения в страну, которую они не покидали, прописки в своей квартире, из которой они не выехали и из которой домоуправление их выбрасывает, а ему ходатайствовать о паспортах, которые у него отобрали. Пока во всех присутственных местах ему во всем отказали. Как жить дальше, как ко

всему этому подступится, пойти по новому кругу чиновного ада в городе, глубоко безразличном к судьбе его семьи, он еще не знает, так как и силы его, и деньги на исходе.

...Осиротевшая семья осталась в конце концов в Ленинграде, в той самой полуподвальной квартире, в которой выросла Кари и ее дети, из которой она так часто уезжала, всегда возвращалась, и не вернулась однажды, 3-го июля 1983-го года.



*Когда этот день пришел?
Спросите меня и меня
Милосердие велико
Он приходит совсем незаметно
Почти миллиард опрошенных
Умирающих вставших из гроба
Очнувшихся засыпающих
Убитых
Убийц повторяющих благоговейно
Моя бедная любимая мама
Философов вычислителей
Колдунов ворожей и поэтов
Никто не знает когда
Приходит никогда больше
Тогда судьба становится щедрой
Тогда открываются окна
Тогда приходят друзья
Приносят цветы и вино
О тебе вспоминают родные
К нам к нам к нам
Но ты закрываешь шторы
Потому что привык к темноте
Замолчал телефон
Тебе нечем платить за дружбу
Вино горчит
Цветы задохнулись в дыму
Ты прижался к стене
Чтобы те кто ищет тебя
Проходили мимо и дальше
Постепенно тебя забывая.*



Кари Унксова

После смерти

1983. Некролог в Америке

В альманахе «Женщины и Россия» была опубликована «Автобиография» Кари и редакционный некролог за подписью издателя Т.Мамоновой, которая писала:

«...Власти сделали несколько попыток запугать Кари. 22-го ноября 1980 года в Ленинграде ее осудили на 15 суток. Четыре фанатика из КГБ сфабриковали дело о «хулиганстве К. Унксовой». Ее обвинили в нападении и избиении четырех милиционеров.

...Позднее в ее квартире был произведен обыск, пишущая машинка, записные книжки, рукописи и книги были изъяты.

...Издатель хочет привлечь внимание читателей к судьбе Кари Унксовой, чтобы затем услышать их голоса в защиту других преследуемых борцов за элементарные гражданские права.

...Кари Унксова была информирована властями, что она, ее муж и дети в возрасте 8 и 17 лет могут выехать из страны 19 июля 1983 года. 3 июля Унксова погибла в Ленинграде под колесами автомобиля. (Перевод с английского).

1985. Анатолий Смирнов публично отвечает оппонентам и критикам Кари в своём докладе на заседании литературного клуба в Ленинграде.

...Сегодня, через два с лишним года, после смерти Кари, я все время слышу один и тот же вопрос: «Почему же мы не знали, что у нас есть такой поэт? И что же это все-таки такое – поэзия Кари?»

Желающих и полагающих для себя возможным бойко ответить на последний вопрос при жизни Кари было сколько угодно. Сейчас их гораздо меньше, хотя они и не вовсе перевелись... Причиной тому, по видимому, бесконтрольное расползание все большего числа отрывочных, произвольно скомпонованных, изуродованных, но все же подлинных текстов. Кари почти никогда не отказывалась выступить перед

любой аудиторией или дать текст для прочтения, но людей, имевших возможность ознакомиться с ее творчеством в достаточно полном объеме сравнительно немного, и еще меньше людей, сумевших воспользоваться этой возможностью.

Творческий контакт с организациями неофициальных (так же, как и официальных, Т.З.) литераторов Ленинграда для нее оказался невозможным, а нетворческого контакта она не признавала, даже в частной жизни.

...Передо мной журнал «Обводный канал №6 за 1984-й год, в нем статья Ю. Колкера «Вольноотпущенники», в ней есть страница, посвященная Кари. Речь идет о нескольких стихотворениях, помещенных без чьего-либо ведома, в неизвестном мне сборнике «Острова» и сопровождается весьма краткой и не менее энергичной оценкой творчества Кари. Начинает автор с того, что: «Уже в начале 1960-х годов на нее водили смотреть, — хочешь увидеть живого гения?», и кончает тем, что навешивает следующие ярлыки: «импрессионистка», «футуристка», «последовательница Елены Гуро», объявляет главными принадлежностями ее стиля звукоподражание и описательность. Отмечу, что во всем написанном Кари, сколько-то заметное использование звукоподражаний найдется едва ли в нескольких стихотворениях, и непонятно, почему Ю. Колкер считает это поэтическим преступлением, так же, как и использование 5-ти стопного ямба. Критик тут же выдает свидетельство о незначительности таланта, не владении словом и духовной закрепченности. Все это на материале 3 – 4-х стихотворений, в которых, как это явствует из его текста и признаний, он не только не понимает системы изобразительных средств, но даже содержания. Больше ничего ему о творчестве Кари неизвестно.

А цитируемые стихи, все без исключения, великолепны, разнообразны, и дают достаточное представление о мастерстве их автора.

Первое стихотворение «Ворон», небольшое, всего 12 строк. Посвящено главной и высшей теме поэтов всех времен и народов «Поэт и Бог». Поэт, и его готовность свершить свою миссию, отдать себя без колебаний, или в высоком смирении ждать часа признания, даже зная, что он никогда не придет. Стихотворение исполнено такой силы и свободы духа, что

аналог ему можно найти только в классической поэзии, а в сегодняшней русской литературе просто нет:

*Изда где Ворон складывает крылья
Поток где вдруг сместились две струи
И Ты Кто остановишь дни мои
В единый ствол в последнее усилие
Ездок кто запоздалый без огня
Един Кто отвечает мне сегодня
Мешок что отложили для меня
Убивец что спускается по сходням
Та ветвь где Ворон складывает ношу
Поток где неизменны две струи
Венок который оборву и брошу
И Ты Кто остановишь дни мои.*

Главный художественный метод – это свертка огромной информации в каждой строке, вовлечение в поэтическое и философское размышление читателя и данная ему свобода в пределах каждого архетипа включить свой, наиболее ему близкий.

«*Ездок кто запоздалый без огня*». – Может быть, вестник с хорошим или плохим известием или призывом о помощи, может быть, всадник из «Лесного царя» Гете, или всадник Бродского, к вашим услугам вся российская и западная культурная традиция, более того, мировая, выбирайте и творите вместе с поэтом; всадник Кари мчит сквозь темноту ночи – остальное ваше. Поэт – не сектант и не фанатик, его сознание ясно, интеллект тверд и так же полно доверяет Богу, как и его дух...

«*Един Кто отвечает мне сегодня*». Поэт знает: любой голос, слышимый ему, будет голосом Бога. И его решимость следовать этому голосу свыше, неколебима.

«*Венок который оборву и брошу*». – От венка Офелии до лаврового венка победителя, ваш выбор, читатель. Каждая строка «Ворона» – архетип возможной судьбы, варианты которой мгновенно проходят перед взором поэта и читателя, если он в состоянии и желает следовать за поэтом.

«И Ты Кто остановишь дни мои». – Поэт спокоен перед лицом Бога, он готов принять смерть. Он свободен.

Ворон пришел из Эдгара По, которым Кари увлекалась, как и многие, с детства, и символика этого образа совершенно открыта. Одно только ее рассмотрение в стихе Кари может доставить бездну эстетического и интеллектуального удовольствия. Уместно еще отметить высокую энергетику стиха и почти полное отсутствие эмоциональной рефлексии – все действие разворачивается на интеллектуальном и духовном уровне. Звуковая структура полностью подчинена смысловой, и оценить ее достоинства в силах любого грамотного читателя.

Теперь возвращаемся к статье Ю. Колкера в «Обводном канале». Цитирую: «Смысла нет в этих стихах, есть вялое, безвольное скольжение по поверхности, расслабленный полубред, рабское следование звуку... Духовная закрепощенность поэтессы слишком наглядна». Да, да, это о Вороне! Так что же это? Невежество? Некомпетентность? Умственная и духовная неразвитость?

...Следует отметить крайне небрежное обращение с авторским текстом, цитаты приведены в безбожно искаженном виде, произвольно соединены строчки, взятые из совершенно разных мест, изменены слова и целые строки. Тон всей статьи недопустимо развязан.

...Свобода и духовность – первичные понятия, им нельзя научиться, если Господь забыл, или не почел нужным вложить их в нашу душу. Когда я читаю рассуждения Ю. Колкера о свободе духа и поэзии, то невольно приходит ощущение, что присутствуешь при какой-то черной мессе, где каждое слово – оборотень, заменено противоположным по значению смыслом.

...С формальной точки зрения, стихи Кари, казалось бы, не должны представлять для читательского восприятия серьезных трудностей. Отклонения от грамматики, такие, как опущение предлогов, иногда глаголов, перестройка по ходу фразы, как бы объединяющая два разных по форме высказывания, – все это использовалось в русской поэзии, иногда даже в допушкинские времена. Эти приемы связаны с хорошо изученным сегодня лингвистикой явлением избыточности языка и призваны увеличить энергию и информационную нагрузку стиха при сокращении объема текста. Трудности

восприятия такого стиха можно объяснить только нашей привычкой к инертности и вялости мышления, господством канцелярско-бюрократического стиля, с которым мы в основном имеем дело в нашей повседневной жизни.

...Те, кто достаточно знал Кари или работал с ней, подтвердят, что при общении на любом интеллектуальном уровне, она всегда была бесспорным лидером, хотя споров не любила, полагая, что в них рождается не истина, а только отчуждение и озлобление, и всегда предпочитала спору интеллектуальное и духовное сотрудничество. Ей была совершенно чужда столь важная для мужского сознания задача самоутверждения, она никогда не настаивала на своем превосходстве. На многих, с кем она общалась, она оказала свое, и часто решающее для них влияние. Многие из этих людей были далеки от литературных кругов, это были художники и музыканты, и люди вне искусства. Кари свободно ориентировалась в любом культурном пространстве и обладала даром пробуждать творческую активность тех, кто ее окружал. Ее оценки или советы отличались глубиной и точностью.

...Интеллектуальность поэзии Кари действительно требует от читателя достаточного умственного развития и предполагает известный культурный опыт. Геометрия мысли, как неотъемлемая часть общей структуры стиха, у нее часто довольно сложна и требует бдительности и внимания. Однако, это не следствие поэтического снобизма, а необходимый элемент организации поэтической стихии.

...Кари прошла путь от первоначальной борьбы за свое человеческое достоинство и жесткого отстаивания своего права на независимость до той вершины творчества и познания, которых может достигнуть человек, если постоянное движение вперед и вверх для него необходимое условие существования. Путь каждого уникален, поэзия Кари поможет тому, кто готов к этому духовному движению.

Бесмысленная суета, ложь, стяжательство, вот удел нашего бытия сегодня. Поднимайтесь и идите, помогайте друг другу любовью и милосердием, ваши потери на этом пути ничто по сравнению с обретениями, – это говорит нам поэзия Кари.

...Сама Кари считала себя поэтом классической традиции.

Если условно разделить русскую классическую литературу на два направления: Пушкин – Толстой, Лермонтов – Достоевский, то, безусловно, ей ближе первое. В ее стихах периода становления можно найти следы критического анализа самых разных поэтических направлений, и даже просто упражнения в поэтических приемах. Часто они выполняют задачу выявления архетипов определенных жанров, а то и целых художественных школ. ...Разнообразие приемов, количество находок, многих из которых хватило бы иному поэту на всю жизнь, не поддается учету, и не один из них не является самоцелью. Кари никогда не *сочиняла* стихов. Технические трудности ей были неизвестны. Внутренняя работа ума и духа всегда остается достоянием автора, но скорость «материализации» произведения поражала. Например, «Венок сонетов» был ею написан за 1,5 – 2 часа. Перевод «Сурсагара», выполненный на высочайшем духовном уровне (по свидетельству индологов, получивших его для прочтения), занял несколько дней.

...Я свидетельствую, что Кари прошла все этапы своего пути к свободе духа с полным чувством ответственности и не делала себе ни малейших скидок. Ее стихи честно говорят нам не только о радости постижения, но и о тяжести потерь и жертв, неизбежных на этом пути. Кари прошла через искушение спрятаться за социальную и политическую беспомощность, отвергла тезис о личной непричастности к миру зла, как следствие лицемерия и равнодушия интеллигенции, к которой она принадлежала...

1985. В Тель-Авиве усилиями Беаты Малкиной выходит сборник стихов «Кари» тиражом в 500 экз., в который вошли тексты, собранные в эмигрантских кругах, и прежде всего, стихи 1970 – 1979 г.г. из архива Л. Кузнецовой, выехавшей в Штаты и сумевшей вывезти рукописи Кари. Издатель также «...глубоко признателен И. Сундулевичу, Г. Орлову и А. Волохонскому за участие в составлении и подготовке книги».

1989. «Москва была самым веселым городом в нашем пасмурном государстве...»

(Это было мимолетное знакомство в Ленинграде с од-

ним из молодых людей из московского окружения Кари. Меня свел с ним ныне покойный Алеша Соболев. Я попросила тогда моего собеседника написать мне письмо и рассказать об атмосфере тех лет. Письмо было получено. Но сейчас я вынуждена публиковать его без разрешения автора, так как мне не удалось с ним связаться. Конверт утерян, под письмом нет обратного адреса и вместо фамилии стоит красивый росчерк, из которого понятны лишь инициалы).

Уважаемая Татьяна!

Мне кажется, я недостаточно удовлетворил Ваш интерес к судьбе, к последним годам Кари, очевидцем которых я был. Согласитесь, тот совписовский шалман, (Ленинградский Союз писателей Т. З.), где мы встретились, был не самым удобным местом для излияний. Вы спрашиваете, что и – чем была для нас Кари. Попытаюсь объяснить.

К знакомству, если так можно выразится, мы были уже готовы: многие наши приятели с нею общались, кто время от времени, а кто и тесно. Сходились мы как-то толчками, сам процесс сближения был не гладким (из-за глупых «внутриведомственных» амбиций), но, долго ли, коротко ли, – оказались под одной крышей. И тут вспыхнул бешеный пожар интеллектуального общения. Пламя его трещало и жгло. Помогало все: и относительная схожесть происхождения (следствие – один культурный язык), и взаимный друг к другу интерес, и даже сама манера жить. Тогдашняя Москва, как ни странно, была, наверное, самым веселым городом в нашем пасмурном государстве. В это трудно поверить, но я тому очевидец: вечный фейерверк, шампанская легкость, приятность и разнообразие общений, какие-то пляски, сидения за столами с роскошной снедью, езда на такси кортежем из одного дома в другой и, после гостей, до гостей, – беседы, беседы, беседы. Рождество, Крещение, твой день рождения, мой день рождения, ее именины...

Это была наша реальность, другой мы не знали, и было весело. Дамоклов меч, казалось, висит так высоко, что близорукие могли бы его и не увидеть. Конечно, некоторые наши друзья, родители наших друзей, жены или мужья наших друзей (то тут, то там мы слышали), имели какие-то

неприятности, но такова была реальность. А беда настала с неотвратимостью сброшенной с самолета бомбы. И Кари, с ее феноменальной интуицией и даром предвидения, уже что-то чувствовала.

...Что я могу рассказать о том специфическом круге, к которому мы принадлежали, кроме того, что он был блестящим? да и не знаю, правильное ли это определение – круг, – форма-то была с множеством ответвлений. И существует только в моей (твоей, нашей) памяти: предмет рассыпался на множество отдельных атомов; иных уж нет, а те...

Вспоминаю раннюю зиму, непредвиденные проблемы, Карины прохудившиеся башмаки, наше хождение по магазинам: последний, прощальный день рождения в Москве... Во множестве и как-то сразу приваливших гостей, гул разговоров по углам, плохо скрываемое ожидание застолья (непременная увертюра приема по-русски), наконец, тосты, пущенные по часовой стрелке; аристократическую грацию и спокойную, как у Анны Карениной, статью именинницы – Кари в декольтированном платье; пение Людмилы Дмитриевны Дервиз, пение (ох!) Андрея Изюмского... Кари ко мне: – Отсюда я взяла бы только пластинки Обуховой и записи Дервиз. Хорошее средство от ностальгии: слушать, плакать и понимать, что этого больше нет и в помине...

...Людмила Дмитриевна Дервиз (Кардашева) – вдова одного скульптора, дочь барона фон Дервиза и обительница известного дома (частного), где живут художники Ефимовы, Голицыны, Фаворские и Шаховские, – одна из бывших первых красавиц Москвы, сочинительница и дивная исполнительница старинных песен, знак старинной московской широты и культурности.

Может быть, следует все-таки определить, что же такое Андрей Изюмский, столь «приблизженный» к Кари, этот хилый урбанистический цветок, странный плод вольного ората и дымной фабричной трубы. Ее привязанность к нему была, как мне кажется, род проклятия. Была какая-то астральная несовместимость этого юноши, Кари и нашего круга, его рядом с Кари... (А. Изюмский, рок-музыкант. Кари интересовала молодежная контркультура, она считала,

что через рок-музыку можно привлечь внимание молодежи к серьезной поэзии. Андрей положил на музыку тексты из поэмы Кари «Письма Томаса Манна» и сам же их исполнил. В те времена рок музыкантов гоняли, устраивали погромы, увозили в отделения милиции. Изюмскому удалось передать кассету с записью «Писем...» в ФРГ, где она прозвучала в одной из программ западногерманского радио при поддержке тогдашнего члена бундестага Отто фон Лансдорффа. Андрею через посольство ФРГ была передана в качестве гонорара электрогитара. Кажется, это был первый и последний творческий взлет Андрея, принесший ему в конце 70-х некоторую известность в определенных кругах. Т.З.)

...Про Виктора Резункова я ничего не знаю. Кроме того, что это был приятель Андрея и возник он в последние месяцы последнего лета.

Со времени знакомства и до смерти, близким ее другом и человеком, которому она доверяла, был Александр Тимофеевский.

...Мне кажется, что Кари уже было абсолютно все равно, с кем общаться, и это очень понятно: в ту пору она писала шедевр за шедевром.

На меня Кари оказала огромное влияние, ее творчество, опосредованно, сильно сказалось на моем, – и не только творчестве, но и на самом мироощущении.

Я благодарю Бога за подарок общения с ней.

Кари всегда чувствовала, что молодежь – будущие ее читатели, что время ее поэзии начнется завтра.

...Ей хотелось широкого признания, и она делала ставку на рок-культуру, затем на феминизм, считая его сильным движением, и это оказалось для нее роковым поворотом.

P.S. Весь вышенаписанный текст – по свежим следам нашего общения. Не знаю, насколько полезным окажется для Вас этот поток сознания. Ибо, может быть, только для меня это стройный образ, а не набор фактических умолчаний и словесных украшений. Может быть, образ Москвы здесь видится сквозь призму юношеского восприятия. И я мог бы еще многое напеть о Москве и Кари, но оставим это до другого раза.

Кончаю письмо, желаю Вам всяческих благ, и всем нам – большей общности культурных сил и, в этой связи, посылаю привет неизвестным мне Вашим товарищам, проявившим интерес к литературной судьбе и памяти о блистательной нашей подруге.

Москва, конец 1988-го, начало 1989 года.

1989. У Давида Самойлова в Пярну.

...Улица Тооминга, где стоит его дом, недалеко от берега моря. Я здесь второй раз. В 85-м году, когда в таллинском издательстве вышел сборник его стихов «Голоса за холмами», я, договорившись с поэтом, приехала в Пярну, чтобы сделать записи для передачи. Давид Самойлович читал тогда стихи из своей новой книги по собственному выбору, так я ему предложила. Мы говорили о «читателях стихов» (определение Самойлова), которых становится все меньше, но они все-таки существуют, об уходящем поколении поэтов, его ровесников. Передача прошла тогда и по Всесоюзному и по Эстонскому радио. И вот я опять звоню, спустя четыре года, напоминаю о себе, и опять прошу о встрече, но уже совсем по другому поводу.

...Как и тогда, ненастный балтийский ветер бьет в окна. В кабинете холодно. Давид Самойлович в теплой вязаной кофте, он сильно сдал и вид у него усталый. Говорит, что жена в Москве, дом трудно прогреть, но, впрочем, «домоправительница» затопила печку и есть надежда, что станет теплее. Он неважно себя чувствует в последнее время, но более всего угнетает его невозможность чтения, зрение слабеет с каждым днем и толстые линзы его очков уже не помогают. Кари он хорошо помнит, поражен известием о ее гибели, он узнает об этом от нас. Мы рассказываем, что в 85-м году, в Израиле был выпущен небольшой сборник, из стихов, которые издателью удалось собрать в эмиграции. Но тираж был крошечный, сборник, по существу, мало кому известен. Мы хотим попытаться «пробить» издание ее произведений здесь, более полное, с более тщательно выверенными текстами и воспомина-

ниями о Кари тех, кто ее хорошо знал. Если он не против, его рекомендация могла бы помочь. Есть готовый том под названием «Апшиева дорога», куда вошли поэмы и стихотворные циклы разных лет. Этот том у нас с собой, так же, как и журнал «Смена» за 1974-й год с первой публикацией стихов Кари и отзывом Бориса Слуцкого. Хотели бы ему оставить, но если ему так трудно читать... Есть кассета с записью стихов Кари, мы сами их начитали, на всякий случай...

– Читайте лучше стихи прямо сейчас, по рукописи.

...Иосиф читал ему стихи Кари, стихотворение за стихотворением. Давид Самойлович напряженно слушал, ни разу не остановив, и если Ося делал паузу, то молча, жестом, показывал – продолжайте...

Иосиф отложил последнюю страницу.

Давид Самойлович сидел какое-то время молча, затем попросил Осю сесть за его пишущую машинку и продиктовал следующее:

«Посылаю Вам рукопись стихов Кари Унксовой с просьбой прочесть ее или передать лицам, чье мнение о поэзии существенно для Вас. Кари Унксова, трагически погибшая несколько лет тому назад, – талантливый, своеобразный, высоко содержательный поэт.

Я знаю ее творчество не менее двадцати лет.

Борис Слуцкий, весьма строгий ценитель поэзии, редко дававший рекомендации, написал предисловие с высокой оценкой поэзии Кари Унксовой к ее публикации в журнале «Смена».

Полностью присоединяюсь к его оценке.

Надеюсь, что Ваше мнение и мнение издательства совпадут с моим.

Считаю, что необходимо опубликовать сборник стихов Кари Унксовой. Готов написать к нему предисловие. С уважением...» Попросил прочесть ему текст, взял ручку и подписал: Д. Самойлов.

– А кассету со стихами Кари оставьте. И, помолчав, добавил: – Бывает, что в архиве покойного и достаточно известного поэта обнаруживают стихи незнакомого и малоизвестного, и это привлекает к ним внимание...

...Короткое послание к гипотетическому Издателю за подписью Давида Самойловича Самойлова, хранится у меня в папке Кари вместе с ее текстами. Судьба кассеты с начитанными стихами Кари мне неизвестна. Может быть, до сих пор она таится в его архиве?

...Давид Самойлович умер в Таллинне весной 90-го от сердечного приступа. Было это на вечере памяти Игоря Северянина в Таллиннском Русском драматическом театре. Я приехала рано утром в редакцию на следующий день, поставила на аппарат запись той, давней передачи. Вот зазвучала музыка, вступительный текст, начитанный мною, первые фразы Самойлова, и я содрогнулась от неуместности сейчас и этой музыки, и собственного своего корреспондентского голоса рядом с голосом покойного уже поэта. Схватила ножницы и стала вырезать все свои рассуждения, вопросы и реплики. Слушаю снова, на душе легче. Изменилась тональность передачи. Может быть, после смерти изменяются не только наши портреты, но и голоса, сохраненные в той же химической памяти, но уже не фото, а магнитофонной пленки? Вот Самойлов говорит о недавней смерти своего друга, поэта Бориса Слуцкого. Затем делает паузу, и добавляет «...и вот остался я один». Я отматываю пленку, слушаю снова «...и вот остался я один... и вот остался я один»... Нет, его голос и тогда звучал так же, как сейчас, но именно эта фраза, эта интонация и эта пауза должны были стать ключом ко всей передаче. Это я тогда испугалась своего ощущения, что «Голоса за холмами» – книга ухода, книга прощания. С жизнью, которую он так жадно любил. Однако искусственные паузы, которые я врезала в «живую» запись, были как заплатки. Надо что-то придумать. О спасительном и банальном приеме соединить куски записи музыкой думать не хотелось. И все-таки я пошла в фонотеку и принесла грудку пленок, отменной и подходящей к случаю музыки. Поставила на аппарат, слушаю одну вещь за другой. Ничего не подходит, ничего не монтируется с этим усталым, угрюмым, медлительным голосом, читающим дивные строки. Я очень устала от музыки и уже отчаялась. Но вот закончился какой-то музыкальный пассаж и раздался будто бы вздох, сожалеющий о чем-то последний, уходящий в бесконечность

странный угасающий звук. То ли тронула рука музыканта на прощание клавишу, то ли струну, то ли еще что-то, чему я не знала названия, но сделано это было мастерски. Это было «то самое». Я отнесла пленки в монтажную, объяснила оператору задачу. Этот слегка осязаемый слухом, повторяемый в передаче звук связал в целое фрагменты записи. Так и прозвучала передача «Памяти поэта Давида Самойлова» в ближайшем выпуске моей программы.

...Издание сборника Кари не было осуществлено. По целому ряду причин, в том числе и исторических, – наступало время, когда в литературе уже многое, если не все, было позволено, но уже почти никому ни до кого, кроме себя, не было дела, тем более до умершего и почти неизвестного в литературной среде поэта.

Кари и Петербург

*На Петербург пришла жара –
Афины гордые пропорций –
Тогда в звучанье малых терций
Секунды сыпала зурна.*

*Гремят в оградах соловьи
Восток затравленный и жаркий
Простер в закат тугие арки
Неукоснительной зари.*

*Жара взползла на Петербург
В ответ вспылал он куполами
Надежно медными углами
Сковав в квадрат условный круг*

*Но идет тать и льется медь
Из черных жерл погибших улиц*

*Сколочен конь смеется Улисс
Лукавец медленный как смерть.*

*Ярило ханское хазар
Надменно распускает брюхо
И роют бронзовые мухи
В гортанном клетоте базар*

*И крики вьючных ишаков
Ревут восторг сквозь хрипы чаек
О Троя – пристальный молчальник
В ограде призрачных шагов*

*Уже победные костры
Горят у стен ее безмолвных
И атлантические волны
Сжигают гнутые мосты*

*Прощай Петрополь – и сгори
Расти в своих подвалах время
Когда чума оставит семя
Под белым севером зари.*

Эта поэтическая мистерия была написана Кари в 70-м году, и я мысленно включаю «Петербург» Кари в некую Антологию, куда вошли бы только знаменитые стихи, посвященные Городу. Кари – дитя Петербурга. Его аура, культурная традиция, архитектура, погода, природа, – все это стало частью ее мира. Ее судьбой. Город традиционно или изгонял своих поэтов, или убивал их, или они умирали в своей неразделенной к нему любви.

...За пределами Города «над лесом кладбище с грибами на могилах, отдельные семейства мертвецов по вере, по войне, не все – по семьям...» Безымянная могила Кари, в которую то-ропливо и тайно ее захоронили, потерялась здесь бесследно.

Один эпизод конца 80-х, связанный с одним странным человеком.

Он провел в нашем доме, может быть, неделю. Привела его в дом я, а познакомились мы случайно, на одном из больших таллиннских вернисажей за день до его официального открытия. Это был день, когда в последний раз осматривается экспозиция, – еще можно что-то поменять местами, – приходят художники, критики и журналисты. Я обратила внимание, что от картины к картине передвигается группа людей, которые буквально раскрыв рты внимают какому-то странно жестикулирующему человеку. Знакомый художник объяснил мне, что оратора зовут Володя, он иногда приезжает по приглашению из Ленинграда, известен в их среде тем, что обладает способностью вжиться в картину и определить ее век, подлинную художественную ценность. Как же это ему удается? Он что, искусствовед? – Да нет...

Я была заинтригована. Когда толпа вокруг Володи рассеялась, я подошла к нему и представилась. Спросила, какие у него критерии. Володя отвечал, что критериев нет никаких. Он просто «чувствует» «тяжесть» картины или ее «пустоту», так как обладает способностью войти «внутрь» и побыть в ее пространстве. Все его ощущения возникают там, «внутри», они чисты и свободны от каких-либо посторонних влияний. Поэтому его невозможно «провести» на всяческих спекулятивных приемах. По мнению Володи, ценность произведения заложена в длительности его духовного воздействия на субъект, а понять это почти никому не удастся сразу. На человека влияют мода, реклама, имя, но все это пустое. Для него лично и его метода эти факторы не имеют ровно никакого значения. Он «работает» таким образом, с таллиннскими художниками пару лет. Его неофициально приглашают, как эксперта посмотреть экспозицию и часто меняют местами картины по его рекомендации. И давно у него обнаружилась эта способность?

– Видите ли, – сказал Володя, спокойно глядя на меня бледными детскими глазами, – вообще-то я шизофреник. До сих пор состою на учете, хотя это уже пустая формальность. По образованию я химик, а сошел с ума от жизни, которой жил последние 20 лет. Ну, посудите сами: одна комната в комму-

нальной квартире вместе с женой, тещей и детьми. Зарплата младшего научного сотрудника. А надо то, другое. Городской транспорт два раза в день, потом очереди... И так каждый день. Я не выдержал, был буйный приступ, санитарная машина, больница. Потом депрессия. Меня лечил замечательный врач. Он сумел освободить меня от груза этой жуткой жизни, но посоветовал уйти от семьи и жить одному. Я вышел на пенсию по болезни, хотя мне всего 46, сумел получить отдельную комнатку и совершенно изменил, по его же совету, режим и питание. И, знаете, жизнь преобразилась. Я полюбил ее! У меня крошечная пенсия, но мне хватает, я свободен от соблазнов. Я никогда не интересовался искусством, природой, а тут почувствовал такую тягу... Тогда во мне и открылась вдруг эта способность. И не только эта. Он таинственно понизил голос и огляделся, но мы были одни, художники разошлись, и только вдалеке бродили по залу две-три фигуры.

– Я каким-то образом узнаю о человеке. Кем он был ДО, – вы понимаете? И где он будет ПОСЛЕ. Я ассистирую иногда своему психиатру, когда у него трудные случаи, и даже получаю маленький гонорар, совершенно официально...

Я, что называется, совершенно обалдела от услышанного и решила, что с меня хватит. Спросила Володю, куда ему ехать, и он простодушно ответил, что некуда, потому что его таллиннская приятельница и пациентка, у которой он собирался остановиться, куда-то срочно уехала на две недели, а он ее не успел предупредить. Так. – Где же вы будете ночевать? – Не знаю, – беспечно сказал Володя. – В Кадриорге, где-нибудь на скамейке, смотрите, как тепло... У меня в сумке есть свитер, на всякий случай.

...Короче, через полчаса мы были уже в нашей квартире. Я показала Володе на диван, сказала, что спать он будет здесь, а я приготовлю ужин. Володя оказался вегетарианцем, очень деликатно спросил, может быть, найдутся для него пара морковок, кусочек капусты и терка, а чай он пьет исключительно свои, из разных травок, и возит их с собой. Пришел из редакции Ося, я представила их друг другу. Но потом, когда я пыталась на кухне тихонько втолковать ему, что за человека я пригласила к нам пожить, получался совершеннейший бес-

помощный бред. Ося покрутил пальцем у виска и сказал, что непонятно, кто спятил, наш постоялец или я. Впрочем, реакция его была вполне миролюбива, и Володя стал жить у нас. Утром, когда мы уходили на работу, он еще спал; вечером, оживленный и радостный, встречал нас с тазиком тертых сырых овощей.

– Что это вы, Володя, как кролик, садитесь с нами, – приглашал его Ося к жаркому.

– Я не враг себе, – говорил Володя. – А вот вы, Ося, враг, ваш организм из-за мясных продуктов и разных напитков давно плачет, а вы продолжаете его мучить... Так и до депрессии недалеко.

– У меня он без мяса плачет и в депрессию от морковки впадает, – отвечал Ося, чокаясь с Володиным травяным чаем.

...Конечно, у меня чесался язык и хотелось задать Володе всяческие вопросы про свое, в частности, «до» и «после», но я запретила себе это, что-то сдерживало меня, какое-то суеверие, что ли. Но Ося веселился вовсю, тем более что Володины терпимость и кротость были безграничны.

– Как вам удастся, Володя, так быстро засыпать, дрыхнуть по 12 часов в сутки и просыпаться в дивном настроении? Я же слышу, как вы распеваете арии в ванной... Научите меня, – говорил Ося.

Володя доставал свои пакетики и начинал объяснять, как и в какой последовательности их заваривать, но Ося сразу скуучел, отнекивался и говорил, что боится отравиться. По поводу долгого сна Володя объяснил как-то, что он не спит, а «работает» помногу часов со своими пациентами, которые живут на разных расстояниях и в разных городах, но он находится с ними в постоянном контакте, так как нельзя прерывать лечение.

– Тогда полечите нашего Фрама, тем более что вы поселились на его диване, – нагло сказал Ося.

Фрам – наша собака, которую мы в утешение себе завели после смерти Макса. Это черной масти годовалый афганец, необычайной красоты и непостижимого характера. Фрам никогда не выражал своих чувств, не провожал нас до порога на работу и не встречал у дверей, наши ласки и выражения люб-

ви принимал снисходительно, как восточный принц, дрессуры не признавал, а во время прогулок и вовсе нас игнорировал. – Мусульманин! – уважительно говорил о нем Ося.

У Фрама болела спина. Врач говорил, что он бурно растет и нужно давать больше кальция. Но кальций не помогал. Вспрыгивая на свой диван или кресло, пес жалобно вскрикивал и постанывал. На Володю, как и на прочих, не обращал никакого внимания. Но вот Володя перевел свои бледные глаза на Фрама, который спал в кресле. Пес проснулся, поднял голову и посмотрел на Володю. Потом спрыгнул с кресла, всплакнув при этом, и пошел к Володе. ...Теперь вечерами Фрам лежал не в кресле, а на диване, рядом с нашим гостем, положив голову на его колени. Тот гладил его шелковые уши, холку, проводил рукой по спине и бормотал иногда – бедный ты мой, бедный мальчик... И вдруг мы обратили внимание, что Фрам больше не плачет! Более того, он сам подходит к Володе, носом раскрывает его рубашку и медленно вылизывает грудь, а Володя блаженно жмурится при этом...

– Что же было такое с Фрамом, Володя? – спросила я.

– Он очень мучительно умирал в своей предыдущей жизни, и память об этом отдавалась болью в спине... Я полечил его.

– А... кем он был в той... прежней жизни?

– Собакой, – спокойно ответил Володя. Выяснилось, что наш гость работает и с художественными текстами. То есть определяет «тяжесть», подлинную ценность образа, строчки, страницы, а значит и масштаб таланта автора в смысле «вечности» его творений. Дальше началась сплошная мистика. Иосиф подсовывал ему публикации, сборники стихов и прозы с дарственными надписями, следил за Володиным дыханием, диковинными манипуляциями его рук, при помощи которых Володя определял некий Космический Уровень творения и бурно веселился, потому что Володя повторял одно и то же, – пусто, друг мой, безнадежно, без будущего... Прошла примерно неделя ежевечерних, а то и далеко за полночь бесед с нашим гостем на разные нестандартные, мягко говоря, темы. И вдруг у Иосифа заболела голова. Таблетки не помогали, он стал инстинктивно сторониться Володи и перестал с ним шутить. Как-то, перед уходом на работу, подошел ко мне и сказал:

– Чтобы духа его здесь больше не было, пусть съезжает сегодня же. Это вопрос моего самочувствия... Я прошу тебя.

– Но это невозможно... как я скажу...

– Так и скажи.

– Но ему негде жить...

– Его проблема. Пойди с ним на выставку, пусть войдет в какую-нибудь картину и там поселится...

С этими словами Ося исчез. Я вошла в комнату. Володя спал. Я вынесла телефон в прихожую и стала звонить своей приятельнице – искусствоведу, прелестной Нинель. Она человек впечатлительный и милосердный, уж ей-то Володя будет определенно интересен... Так оно и было. Нинель сказала, что, конечно, позаботится о нашем необычном госте, пусть он позвонит ей, когда проснется.

...Я вошла в комнату, Володя еще лежал, но уже не спал, и встретил меня радостной улыбкой. Нельзя ему врать, – подумала я, и сказала коротко и просто: – У Иосифа заболела голова. – Я понял, – мгновенно отозвался он. – В душ, – и уйду. – Но я не оставляю вас на улице... Вот телефон, звоните и договаривайтесь. Володя тут же позвонил, записал адрес и отправился в душ. Я поняла, что сейчас он исчезнет из нашей жизни навсегда, и решила. Вынула из письменного стола папку со стихами Кари, выдернула наугад несколько страниц. Володя вышел из душа свежий и бодрый, распевая, по обыкновению, какую-то песню. Я протянула ему тексты. – Володя, посмотрите, пожалуйста, на прощанье... Он мельком глянул. – Ваши? – Да... – небрежно сказала я и вышла. Где-то полчася я что-то передвигала на кухне. Захожу в комнату. Володя неподвижно сидит на диване. Ладони на стопке аккуратно сложенных страниц. Смотрит на меня, в глазах стынет ужас. – Ведь она... умерла? – Я кивнула. – Смерть... насильственная?

– Да.

– Она – Там, – Володя встал и протянул руку вверх. Я тоже посмотрела на потолок – там, на железном крюке, вместо выброшенной Иосифом на помойку люстры отечественного производства, которую я купила по случаю, был подвешен сноп пижмы, горьковато пахнущего растения с золотистыми замшевыми зонтиками цветов, которые Ося

очень любил и собирал в прибрежном лесу по осени. Но по глазам Володи я поняла, что он смотрел сквозь пижму, сквозь потолок, сквозь все пять этажей нашего панельного дома, куда-то туда, куда мне не было доступа. У меня, что называется, мороз пошел по коже. Лицо Володи было вдохновенно и торжественно.

– Она сейчас Там... на очень, очень высоком Уровне...

Опустил руку, как-то беспомощно посмотрел на меня, и добавил тихо:

– Не плачьте о ней...

■
*Кем путь исчислен всех планет
Скажите что нас так мятет?
...Когда извечный знак Земли
Заденет гордый Козерог
И на вершине и в пыли
Земная тварь свершает рок
Бурлит хаос свинца и бурн
Царит Юпитер и Сатурн
Искрою ископыт летит
То бег на тысячи копыт
Гортань его сжимает бег
Кипит сгорает лунный снег
На спину запрокинув рог
По тверди мчится Козерог...*

Я повторяю иногда эти разрозненные строки заворожившего меня когда-то, давным-давно, в другом столетии, стихотворения Кари.

Ветер порой уносит городской смог, и зимнее вечернее небо над Берлином становится глубоким и чистым. Синим светом наливаются звезды, вспыхивая то тут, то там колюче и ярко, будто кто-то невидимый переключает рубильники тока высокого напряжения. И тогда, если долго-долго смотреть вверх, пока не заболят шейные мышцы, вроде бы чувствуешь плав-

ное и мощное кружение, и ждешь, тайно и – тщетно – какого-нибудь знака оттуда, из мира, о котором мы ничего не знаем.

«Что значит для российского поэта» жить и умереть?»

В московском журнале «Согласие» № 4 за 1992 год напечатана подборка стихов Кари, публикация Н. Доброхотовой, и обращение к читателю, подписанное инициалами Б. Е. Можно только гадать, почему автор этого короткого текста, инспирированного стихами Кари и ее судьбой, не назвал своего полного имени.

Б. Е. пишет:

«Что значит для российского поэта жить и умереть? Жить – значит, обмирая, пророчить в пустоту. Умереть – значит быть прочитанным.

Жить – значит приуготовлять смерть. Умирать – значит готовиться к жизни.

Так нет ли возможности жить и умирать беспрестанно? Всегда? Чередовать жизнь и смерть без конца?

Есть. Эта возможность – строка.

Так нет ли еще возможности встать над жизнью и смертью?

Есть. Это – строфа.

Нет ли возможности вложить в себя навечно то и другое?

Есть. Это – стихотворение.

В своей неопубликованной «Автобиографии» Кари Унксова написала, кто она и откуда, кем были ее родители, написала о своих корнях, о том, какие музыкальные кристаллы «известковались» в слабеющем ее позвоночнике.

Однако я все это забыл. И из всей вздымаемой в небо автобиографической лестницы запомнил сразу и накрепко лишь четыре перекладины, четыре ступеньки:

В ограде призрачных шагов – это рождение и детство Кари.

На рваном ветру – юность.

Изда где ворон складывает крылья – предчувствие зрелости

Все собралось в немислимый клубок,

А он покатит может быть дорогой,

Путем неправедным и совестью нестрогой.

Печоры. День. Монашеский клубук...

– Это, как известно еще из Чехова, – смерть.

Вот и все сведения о Кари Унксовой, необходимые до стихов.

Если ж стихи будут прочтены, то по ране, нанесенной вам лапой одичавшей в людской пустыне кошки, по силе удара и крутизне наклона, взятого опечаленной женщиной, сладко и постепенно восстановится в вас ее жизнь

Жизнь, в которой было чуть больше смерти. Всего на щепоть больше, чем это надо для равновесия

Но как раз столько, сколько нужно для возникновения поэзии»

Берлин, 2001

Примечание. Читатель обратил внимание на особый синтаксис, приведенных здесь текстов Кари Унксовой. Хочу пояснить, что отпечатаны они с ее черновиков, копий и оригиналов, где графика поэтических текстов выглядит именно так, создавалась ее рукой и по ее усмотрению. Кари всегда просила с этим считаться. Я отнеслась к ее желанию со вниманием.